

Цена 20 коп.

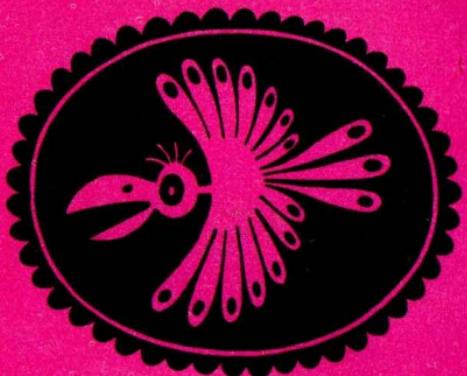
Индекс 72996



БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА

8
(925)

ISSN 0132-2141



ЮРИЙ
МАРГИНОВ

ТЁПЛЫЕ РУКАВИЦЫ





«В старости надо больше делать, чем в молодости», —
сказал Иоганн Вольфганг Гёте.

Поскольку старость грядет, Юрий Семенович Мартынов последовал дельному совету и написал для крокодильской библиотеки седьмую книжку.

Предлагаем вниманию читателей афоризмы И. В. Гёте вместе с сочинениями Ю. С. Мартынова.

Дружеский шарж А. ЦВЕТКОВА.

БИБЛИОТЕКА КРОКОДИЛА № 8.

ЮРИЙ МАРТЫНОВ

ТЕПЛЫЕ РУКАВИЦЫ

Рассказы

Рисунки В. ШКАРБАНА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1983



ТЕПЛЫЕ РУКАВИЦЫ

Шли последние минуты старого года. Николай Гаврилов, хозяин дома, разливал шампанское по бокалам гостей. Гаврилов-младший застыл у «феерического» аппарата собственной системы. В двадцать четыре ноль-ноль аппарат должен был произвести салют небывалой силы. Гаврилова-младшую приготовилась по сигналу брата погасить верхний свет.

В комнате стоял запах хвои и апельсинов. И стояла тишина: стрелки часов подвигались к двенадцати. Телевидение вот-вот должно было донести со Спасской башни двенадцать ударов. В этот момент раздался дверной звонок. Отставив бокал, хозяин бросился в переднюю. Он не дал раздаться гостям, а едва узнав dochь своего старого товарища Гнатюка, сидевшего тут же, потащил их к столу. Куранты пробили торжественную минуту. Комната погрузилась во мрак, раздался угрожающий треск, и все осветилось огнем фейерверка. Под нестройное «ура» зазвенели бокалы...

Появление молодых людей, церемония, представления внесли в застолье еще большее оживление. Дочь Гнатюка Елену многие знали, а вот спутник ее действительно оказался «новеньkim». Имя и фамилия у него были русские — Иван Черных, а внешность нескользко необычная. Большой рост, гладкие черные волосы, раскосые глаза, заметные скулы. «Мой муж», — сказала Елена и, улыбаясь, добавила, что прежде всего должна познакомить его с отцом, который пока знает зятя лишь по письмам.

© Издательство «Правда». Библиотека Крокодила. 1983 г. № 8.

Первые часы Нового года прошли отлично. Покончив с праздничным ужином, гости танцевали, пели, вспоминали забытые детские игры. В четвертом часу отправились к университету посмотреть на Москву. Около пяти вернулись и потребовали чая с обещанными пирогами. За чаем Гаврилов предложил послушать новогодние, или, как в старину говорили, святочные, рассказы.

И сами хозяева и большинство гостей принадлежали к бродячему племени строителей. Ветераном среди них был Василий Егорович Потанин. Он составлял когда-то чертежи Днепрогэса, сооружал Беломорско-Балтийский канал, а потом канал Москва — Волга, строил сибирские гидростанции. Он приближался к восемидесяти, но продолжал работать консультантом.

— Тебе первому слово, — обратился к нему хозяин. — Ты старший, подай пример!

— Что бы такое припомнить... — задумался Потанин. — Впрочем, расскажу вам, как летел из Казани в Куйбышев. Было это... неважно, когда было, важен случай. В Казань я приехал по нашим строительным делам и, закончив их тридцать первого декабря, решил попасть на Новый год к своим.

Привезли меня в вечеру на аэропром, а он закрыт. Метет ужасно, ни посадок, ни взлетов. Мой провожатый уговаривает меня остаться в Казани, приглашает к себе, но я и в мыслях не держу отложить возвращение домой. Правда, дежурная по аэропорту ничего определенного не обещает. Дескать, погоду заказываем не мы, прогноз неутешительный. Ну-с, жду. Время ползет. Пять часов, шесть, семь... Будто потише стало, а вылетов не дают. Снова иду к дежурной. Не знаю почему, за какие мои качества, она мне посоветовала и сказала, что сейчас к ней подойдет пилот, который везет в Куйбышев срочный груз и попытается пробиться. «Попроситесь к нему», — говорит, — он человек добрый, может и вас взять». Так и вышло. Через какие-нибудь полчаса я оказался в хвосте забитого тюками Ила, в обществе трех молодых и веселых летчиков. А надо сказать, за день набегался да поужинал с коньячком в аэропорту: не успели мы взлететь, я уже спал. Проснулся свежий, отдохнувший. Поразила тишина. Моторов не слышу, ничего не слышу, и темно, словно ночь в Крыму. «Где я? — думаю. — В Казани? Или в Куйбышеве?» Взглянул на стрелки часов: двадцать минут одиннадцатого. По времени — Куйбышев. «Какого черта, — думаю, — они меня не будят? Ну и народ, эти летчики. Похоже, забыли обо мне». В темноте пробираюсь вперед и, к превеликой радости, нахожу дверь самолета открытой. Выглянул — ни огней, ни строений. А слева у лесенки стоят летчики и курят. «Хороши типы», — мысленно ругаю их, — курят себе, видно, действительно забыли про меня. Этак и Новый год прозвезать недолго, а мне женой обещана индейка». Скатываюсь вниз и подхожу к пилотам с обидой и претензиями.

— Так что же было? — нетерпеливо спросил кто-то из гостей.
— Отказали один за другим оба мотора, и пока я спал, экипаж успел с жизнью на всякий случай попрощаться и чудом, как принято говорить, посадить тяжелую машину на заснеженное поле. Я спустился к ребятам, когда они докутивали первую сигарету и собирались будить пассажира, то есть меня.

— А как же Новый год? — торопил рассказ нетерпеливый гость.
— Прекрасный был Новый год. Мы не дотянули до аэродрома каких-нибудь десяти километров. Вышли на шоссе, проголосовали. Через час я добрался до дома. К сожалению, не мог привезти к себе летчиков. Они спешили в аэропорт.

— Занимательная история, — раздалось рядом с Потаниным.

— Самое занимательное в этой истории он проспал, — пошутил Гаврилов. — Спасибо, Егорыч, за почин, — поблагодарил он Потанина и обратился к Елене: — А теперь твоя очередь, давай что-нибудь молодежное.

Елена ловко увернулась:

— Я уступаю свою очередь папе, пусть вспоминает молодые годы. Гнатюк, человек молчаливый, тоже попробовал увернуться. Сначала заявил, что ни в какие чудеса вообще не верит и считает это глупостью, потом пожаловался на отсутствие таланта рассказчика.

— Разговариваясь! — подбодрил его Гаврилов. И гости не отступились. Гнатюку пришлося взять слово.

— Ворошить так ворошить, — начал он. — Припоминается мне почему-то история, которая приключилась со мной в Сибири лет двадцать назад. Мы комбинат тогда строили к северу от Ангарска, и жил я там один. Жена с дочкой остались в Москве и ко мне перебрались года через полтора. Наступил предновогодний вечер. Веселье, сборы. Товарищи поехали в город, в ресторан, а я отказался. Решил: раз семья в другой части света, нечего мне развлекаться. Отправил друзей и вроде обрадовался. Никто не мешает, позаниматься можно. Я на заочном учился, времени всегда в обрез. Ну разошлись все, общежитие опустело, и я затосковал. Ученые на ум не идет, потянуло к людям, к шуму. А был я в молодости человек бесшабашный. Быстро приоделся. Костюм новый, галстук, новое пальто с каракулем, шапка-пыхик, ботинки узконосые. В последний момент сообразил сунуть их в портфель и обуты валенки. Выскочил из общежития и пронесли следом за друзьями в город. Они на машине, а я на своих двоих. Ничего, думаю, обогнать не обгоню, но за три часа семнадцать километров отмахну и к проводам старого года успею. Был я и самолюбив. Мысль об эффекте, который произведу, появившись в ресторане, подгоняла меня и согревала.

Мороз стоял приличный, около тридцати. Чтобы не петлять по шоссе, решил я выйти к железной дороге и прямо — по шпалам, по великому сибирскому пути. Иду. В хорошем темпе иду. Давно пора

быть чугунке, а ее нет как нет. В чем дело, не уклонился ли? Иду дальше. Спуск начинается, справа и слева — тайга, откуда бы? А из поселка яшел вырубкой. Мать честная, неужто действительно сбылся? И куда теперь крестьянину податься? Назад, в гору — нет смысла. В лес — ни в коем случае. Ни горы, ни леса до железной дороги быть не должно. Значит, налево шагать, назад к поселку. Обидно до черта: мечталось о веселе, о горячем ужине, а пришлося топать обратно.

Пробежал километра полтора-два, смотрю — распадок. Остановился и окончательно понял, в какой переплет подпал. Заблудился. Произвел, так сказать, эффект. «Давай, — думаю, — Гнатюк, оглядишь внимательно, сориентируйся спокойно, сейчас важнее дела нет». Стою как памятник собственной глупости и от страха, что ли, никакого решения принять не могу. В тайге я, вот что ясно. Она загнала меня на эту невесть откуда появившуюся дорогу, которая давно стала дорожкой в ширину саней, не более... Ну, что говорить... Как ни старался под ноги смотреть, дорожку санную я скоро потерял и двигался напролом по снегу, царапая ветвями лицо. Мороз меж тем не до костей пробирает, а кровь леденит. Ноги, руки задеревенели. Портфель с парадными ботинками примерз моим шерстяным перчаточкам. Где-то упал. Боль в ноге жуткая, а идти надо. Лег бы в снег, сил-то нет, но из упрямства иду. Слышиу — собака лает. Иду на лай, затем — нечеткость впечатлений. Кто-то вроде бы подошел, и оказался я в тепле. Сажают меня на лавку, отирают портфель, перчатки, снимают валенки. Потом под дикая, я ору и прихожу в сознание. Вижу: парень. Он мне под ноги таз с ледяной водой сунул и руки в ледяную воду опустил, спас мои конечности, отошли они. И вот сидим мы за столом, лампа керосиновая горит. Мальчишка смотрит во все глаза. Ждет: кто я, кого спасал?

— Ну, — говорю, — давай знакомиться. Федор я. По батьке Игнатович. А тебя как звать?

— Иван.
— Смотри, имя русское, а на русского не похож.
— Я ойрат.
— Что за ойрат, — спрашиваю, — народа такого даже не знаю.
— Мы, — отвечает, — монгольского племени.
— Как же сюда попал?
— Мать рассказывала, с отцом. А вы что же, на комбинате?
— Да, на строительстве. Как догадался?
— Шапки, — говорит, — у вас одинаковые и пальто тоже.

Ну разговорились понемногу, хотя Иван оказался не очень болтливым вроде меня. Он на зимовье с матерью жил, а мать у него, представьте себе, охотник. В этот вечер ушла к тетке в поселок Новый год встречать. Отца нет, погиб в тайге. Паренек оканчивал десятилетку и будущей осенью собирался в Иркутский университет.

В двенадцать мы, понятно, встретили Новый год, Москву

послушали. Стол Иван приготовил отличный: и рыба копченая, и мяса, и грибы, и водка нашлась. Хозяин был трезвенником, но свое взял...

Перед сном порешили мы с Иваном, что утром он меня проводит до поселка. Ну, а к утру нога моя распухла, валенок не лезет. Вывих ли, трещина, тут только гадать можно. И сел я, так сказать, окончательно на мель. Мой ойрат вытаскивает из-за печи санки здоровые, сажает меня на них, утепляет, как может, а вместо моих перчаток выдает теплые рукавицы на лисьем меху. «Это что же,— спрашивал,— подарок Деда Мороза?» «От него,— говорит,— чтобы руки не мерзли». Ну снял я свои часы — и ему на память. Обменялись сувенирами. А потом потащил он свою тушу — я около ста килограммов весил — до поселка, далее отвез с шофером на станцию, посадил в поезд и проводил до самого Ангарска, где сдал врачам. Пролежал я недолго, вернулся на комбинат и все подумывал на праздники навестить Ивана, да так и не собрался. Все лень, все черствость душевная! Но рукавицы сибирские до сих пор, между прочим, храню...

Думаю, напрасно говорят,— заключил свой рассказ Гнатюк,— с кем Новый год встретишь, с тем не разлучишься.

— Правильно говорят! — раздалось за спиной Гнатюка. Рассказчик повернул голову. На него, улыбаясь, смотрел зять.

— Лицо ваше сразу показалось мне знакомым,— сказал Иван Черных, — но как-то не связалось с зимовым, хотя встречу нашу я не раз вспоминал, а часы ваши — вот они...

Приподняв руки пиджака, Черных протянул руку навстречу вставшему Гнатюку.

— Постой, постой. Неужели ты, и часы те самые... — неуверенно произнес Гнатюк. — Ты и есть тот самый Иван, что подобрал меня полуживого?

— Ну, силы у вас было достаточно. Портфель свой, помню, держали мертвый хваткой.

— Так ведь в нем ботиночки парадные лежали! — подхватил Гнатюк. — И портфель помнишь... Да, вижу теперь — Иван, он самый! Слушай, я еще тогда хотел спросить, да забыл: как же ты, совсем молодой, меня, матерого мужика, не испугался?

— Мы с матерью никого не боялись. Однако вышел я с ружьем, только вы его не заметили...

— Не стал стрелять в будущего тестя! — сострил Гаврилов.

В комнату вошла хозяйка. Она несла поднос с заново наполненными чайниками. Увидев ее, Гаврилов предостерегающе поднял руку.

— Ну нет! — решительно сказал он. — У нас здесь события, которое грешно не отметить. Мы снова будем пить шампанское!

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС

Центр по изучению сверхновых проблем моховедения буквально. От учреждения, набитого современными приборами и аппаратурой, в течение долгого времени не поступало открытый и разработок, которых ждали заинтересованные министерства и ведомства. Идеи не возникали, опыты не давали результатов, вопросы не получали ответов.

Обеспокоенный директор Центра доктор наук и непременный участник международных симпозиумов В. П. Проникин призвал на помощь коллег из Центра универсальных социологических исследований. Дело происходило в восемидесятых годах XX столетия, обошлось без бумажной волокиты, по одному звонку. Социологи, душевный народ, откликнулись с охотой и вскоре прибыли к Проникину с проектом анкет на сорок четыре пункта. С помощью анкетирования и обработки материалов на вычислительных машинах предстояло установить причины творческого застоя и наметить пути ренессанса, то есть, процессы моховедения.

Учитывая значимость предстоящего разговора, директор вызвал к себе заместителей по научной части и по кадрам. Началось совещание.

Вопросник, предложенный социологами, осмыслился с трудом. Пункты вроде: «В чём окружении вы предпочитаете работать — в мужском, женском или наедине с собой?», или «Все ли в порядке у вас дома?», или «Предпочитаете вами цвета интерьера?» — составителям пришлось разъяснять с присущей их профессии скрупулезностью.

Взять хотя бы роль цвета. Если сотрудник работает на стенде, установленном на фоне мрачной коричневой стены, через полчаса жизнь ему начинает казаться подобием этого унылого фона и эффективность труда неминуемо падает. Администрация, обнаружив это, навешивает на стену декоративную композицию в жизнерадостных желто-голубых тонах, напоминающих морской пляж. И что же? Вопреки ожиданиям трудовые показатели не стремятся вверх. Пестрота красок отвлекает сотрудника, он уже в иной сфере, мечтает об иных материалах и охладевает к поставленной задаче. Таким образом, резюмировали социологи, роль цвета переоценить трудно. Всякий раз надо подобрать единственно верный вариант: цвет должен стимулировать, но не отвлекать, успокаивать, но не тянуть ко сну, внушать оптимизм, но не превращать работника в несерьезного бодрячка...

На третьем часу совещания дверь директорского кабинета открылась, и на ковровую дорожку вступила гардеробщица тетя Нина. «Очень вовремя», — подумал Проникин: он был утомлен новизной вопроса и жаждал паузы.



— Здравствуйте, товарищи! — бодро произнесла она, степенно приблизилась к столу Проничкина и, протягивая ему лист бумаги, сказала: — Уж извините, Валентин Павлович, но и вас пришлось побеспокоить, от кадров мне одни отказы идут...

— Ради бога, ради бога! — воскликнул Проничкин, подал ей стул и, попросив извинения у социологов, приготовился слушать незваную посетительницу.

— Прошу перевести в уборщицы по собственному желанию.

— А у нас вы, простите, ком?

— В гардеробе я, левая сторона.

— Левая сторона... Так, так. А почему, собственно, решили уйти? Что вас не устраивает?

— Носить тяжеловато, Валентин Павлович. Мне ведь шестьдесят пятый, на пенсии я. Подрабатываю у вас внучке на приданое. Но в гардеробе никакой передышки, целыми днями взад-вперед, взад-вперед...

— Это почему же взад-вперед? — изумился заместитель по кадрам.

— А как же? — удивилась, в свою очередь, тетя Нина. Некоторые сотрудники не успеют в кабинет зайди, как тотчас обратно. Мало ли какие дела находятся. У нас промтовары, химчистка рядом, в молочную творог привозят отличный... Я вот тут таблицу приложила за двадцать первое число. Взгляните, если нетрудно. Пятеро выходили за день по четыре раза, пятнадцать номеров — по три раза, а сорок — по два... Ну и так далее.

— Интересно, интересно! — Проничкин придвинул таблицу поближе.

— Так сколько же у нас получается выходов в неположенное время? — спросил уточнить заместитель по научной части.

— Вы уж сами посчитайте, — обиделась тетя Нина, будто ее упрекнули в недоработке.

— А посчитать нетрудно! — оживился Проничкин и погрузился в цифры. — У меня получилось двести сорок два!

— Некоторые, вероятно, в счет обеда, — попытался подressорить результат заместитель по кадрам.

— Не понимаю, — возразил директор. — А в столовую когда? В Центре неплохая столовая. Надеюсь, голодом себя наши товарищи не морят...

Возникла пауза.

— В Центре два гардероба, — продолжал Проничкин. — Если помножить результаты, кои мы имеем здесь, на два, выходит... Число впечатляющее — 484! Предположим, каждый покинувший пределы Центра товарищ отсутствует в среднем один час. 484 рабочих часа. У нас, если память мне не изменяет, восьмичасовой рабочий день. Делим на восемь, и выходит; что, по самым радужным подсчетам,

более шестидесяти человек, или каждый пятый, ежедневно выключается из деятельности Центра! Постине впечатляюще! Я поздравляю нашу коллегу из гардероба! Это на грани открытия, не правда ли, товарищи?

Возникла продолжительная пауза.

— Нужна авторитетная проверка, — прервал молчание заместитель по кадрам. — Кроме того, хотелось бы знать мнение наших гостей.

— Гм... Названные цифры, безусловно, заслуживают интереса, но концептуально... Я позволил бы себе напомнить вам о концепции предложенных исследований. Психологический настрой коллектива, как известно, есть совокупность индивидуальных состояний...

Опасаясь, что за серьезным разговором забудут про резолюцию насчет перевода на другую должность, тетя Нина встала и бесшумно, но решительно приблизилась к Проничкину.

— Извиняюсь, Валентин Павлович, а резолюция мне будет?

— Конечно, конечно! — сказал директор. — Против вашей аргументации возразить трудно.

Тетя Нина степенно, как и вошла, удалилась с заявлением в руке. Заседание продолжалось...

ЧУДАК НА УЛИЦЕ

Сотрудники бухгалтерии подняли головы от заваленных бумагами столов: за окном послышалась музыка. Аккордеон словно выговаривал:

Ночью в этой чудной Аргентине
Под звуки танго
Шепнула: «Я люблю тебя!..»

Старая, давно забытая мелодия. Кому она пришла в голову и, главное, кто вздумал играть ее на этой улице? Днем здесь бегают с деловым видом, работают в учреждениях, забитых приборами и людьми, лоят такси, пьют квас и едят мороженое, но играть на аккордеоне — это уж черт-те что.

И потом, как оно пробилось к ним, древнее, как мир, танго, сквозь шум трамваев и автомобильных моторов??

Ночью, в объятиях страстных сеньорины...
Ах, Аргентины я не забуду никогда!

«Не забуду никогда...» Бог ты мой, сколько лет прошло с той поры, — подумала бухгалтер Тамара Петровна и сняла натруженные пальцы со счетной машинки. — Дети, сколько с ними забот! Бухгалтер задохнула, протянула руку к машинке, но считать ей не хотелось.

Счетовод Танечка тоже прислушалась, и глаза ее устремились бог весть куда — в открытое окно, к жилому гиганту на противоположной стороне улицы. Удивительные у Танечки были глаза. Они почти всегда отсутствовали, даже если она говорила вполне обычные вещи. О балансе, например. Вот и сейчас она витаёт где-то, словно музыки не слышит.

Тем не менее.

Пленку с этим танго часто прокручивали на танцплощадке в пионерлагере у Черного моря, где Танечка была пионервожатой. Но она не танцевала, а уходила с Мишой, тоже пионервожатым, на пляж. Встречались тайно, за лагерем на пустынной дороге к рыболовству, где никто не появлялся. Сидели на камнях и говорили. Расстались странно, даже не простились. За все эти месяцы виделись несколько раз, но скоро лето, лагерь. Миша там будет. Танечка ни о чем другом думать не могла.

На мелодию с улицы всех живее прореагировал шеф. Он просто подпевал, и все тут:

— Ти-ра, ти-та, ти-та, ти-та-ти-ра...

Танго за окном напомнило ему о сочных шашлыках на даче в дни молодости и здоровой печени. Он вспомнил и дощатый стол под яблоней, и водочку, и огурцы с укропчиком, и зеленый лучок...

— Слушай, Витя, — сказал шеф стажеру, — взгляни, что за чудак там на улице. Играет, между прочим, неплохо...

•Петр...• — пробормотал Витя и подошел к окну.

Внизу он увидел уходящего парня в синей куртке. Парень продолжал растягивать мехи своего инструмента. Витя, конечно, этого не знал, но настроение у музыканта было самое что ни на есть игровое. Он приехал в отпуск с Чукотки. Всю ночь гулял у друга на свадьбе. Собирался в Крым. Вечером предстояли проводы дома. Парень не был пьян. Просто он почти не спал, играл безотказно, подремал под утро часа два, выпил крепкого чая и шел по улице такой легкий и сильный, что снова захотелось музыки. Он вспомнил старое танго и заиграл...

Витя еще не успел доложить увиденное шефу, как старший финанс检spector Мария Всееволодовна нервно вскрикнула:

— Да закрой ты окно! Работать совершенно нельзя: то грохот, то музыка какая-то дурацкая!

— Ну прикрой, прикрой, — примирительно сказал шеф, и Витя захлопнул окно.

Стало намноготише, все опустили головы, уходя в дела из мира воспоминаний.

ПО САМЫЕ МАКОВКИ

Опыт компиляции

Некий изнеженный иностранец, побывав в 30-е годы XVII столетия в России, писал: «Русские могут выносить чрезвычайный жар и в бане, ложась на полках, велят себя бить и тереть свое разгоряченное тело березовыми вениками, чего я никак не мог выносить...».

Века мало что изменили. Любовь к русской бане с ее бодрящей парилкой, как говорят маститые каламбуристы, не испарилась.

В первую субботу лета прошлого года, когда листва на ветках деревьев была такой свежей, в торжественной обстановке открыли теремок в старорусском стиле с продажей пива и кваса у дверей новой бани в городе Залинное.

Человек в форме лесничего солнечным утром устанавливает на опушке молодой березовой рощи щит с надписью: «Берегите зеленые насаждения!» Пейзаж исполнен тихой прелести.

Вспоминаются строки Сергея Александровича Есенина:

Улыбнулись сонные березки,
Растяпали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы...

Охотники до парилки направляются со свежими березовыми вениками в новую баню...

Человек в форме лесничего в вечерних сумерках тоскует у щита с надписью: «Берегите зеленые насаждения!» От утренней прелести пейзажа не осталось и следа. Березы в рощице ободраны по самые маковки.

Вспоминаются строки Сергея Александровича Есенина:

Отговорила роща золата
Березовым, веселым языком...

КОМПРОМИСС

- Так берете этот кочан?
- Нет, я маленький просил.
- А этот не маленький? Всего шесть пятьсот.
- Велик больно. Мне бы килограмма на два.
- Что, не донесете? Слабосильный такой, да? А еще молодой мужчина.
- Не в том дело. Просто не нужно. Зачахнет он у меня.
- Зачахнет?! Жена посолить должна!

— Я один живу. Мне на щи. Маленький. Знаете, отрежьте, пожалуйста, мне треть от этого кочана.

— Один живет! Можно сказать, в самом соку — и один. А капусту и арбузы я не режу. Так берете этот кочан? — Далее последовал тонкий психологический выпад: — Берите, вас люди ждут. Очередь стоит, не видите?

Апелляция в очереди дала результат.

— Молодой человек, нельзя ли побыстрее?

— Kochan берете, не жену.

— Поезжайте на рынок, там и привередничайте.

— Простите, пожалуйста, товарищи! Еще одну минуту... Мне маленький нужно — килограмма на два, — продолжал молодой человек разговор с продавцом.

— Маленьких нет! Все такие.

— Предыдущему покупателю вы достали совсем маленький кочанчик.

— Не могу я каждый раз нагибаться. Надоело. Вас много, а я одна. Все на прилавке лежит. Больше доставать не буду.

— Разрешите, я сам пройду и достану.

— Ну, если мы всех за привалок пускать начнем... У нас здесь, между прочим, огурцы соленые стоят! Так берете этот кочан? Или я закрываю отдел!

Небольшая, но эмоциональная очередь, подогретая ультиматумом продавца, подвергла молодого человека остроклизму, то есть изгнанию...

Корреспондент газеты «Городская звезда» Дима Первушин выключил магнитофон и откинулся на спинку стула, охваченный воспоминанием о записанном эпизоде. Гражданином, который так и не унес в свое холостяцкое гнездо шестикилограммовый кочан, был он, Первушин. А его собеседницей — продавец овощного отдела гастроно-ма номер три-бис Клокова.

О культуре обслуживания в гастрономе писали в газете многие покупатели. Редакция поручила Первушину установить: соответствуют ли претензии покупателей истинному положению дел.

Задание редакции требовало выдержки и недюжинного самообладания. Первушин вздохнул и снова включил магнитофон...

•— Александр Карпович, к вам можно?

— Да, да!

— Здравствуйте, Александр Карпович!

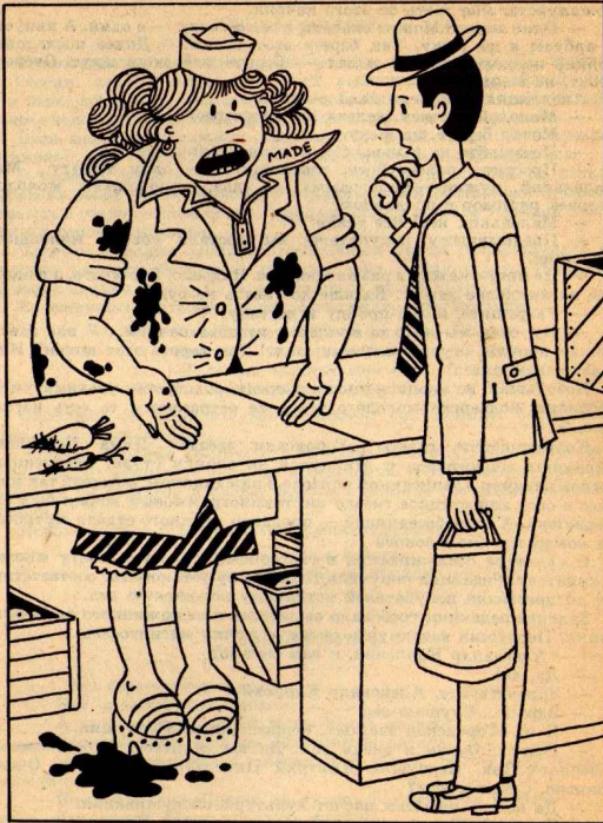
— Здраст... Слушаю вас.

— Я из «Городской звезды», корреспондент Первушин.

— Пресса. Очень и очень рад. Да вы садитесь. Удостоверение позвольте. Так. Первушин Дмитрий Николаевич. Спектор. Очень приятно. С чем к нам?

— Да вот по письмам насчет культуры обслуживания.

— Письма? Жалобы то есть? И вам пишут? И нам — в книгу



жалоб. Нервы, знаете ли у людей, нервы... Сдаают нервы. Не умеем беречь себя. Через мой кабинет директора в день проходит до двадцати человек, плюс-минус. Смотришь на них, Дима,— вы разрешите, я ведь в отцы вам гожусь — и думаешь: ну зачем? Из-за чего? Ради каких-таких принципов?! Плюс-минус десять граммов, какое это имеет значение в жизни??!

— Плюс не имеет, а минус...

— Ну, минус! Какое это имеет значение? Не граммы надо считать, не на весы смотреть, а на собственное здоровье! Вот чего никакой жалобой не вернешь, не восстановишь письмом в газету! Так о чем пишут вам, в прессу?

— Разное пишут. Грубость — это первое. Грязновато. Насчет обвещивания, искусственного дефицита пишут.

— Полный ассортимент! И это вместо того, чтобы дома расслабиться, снять напряжение, посидеть за рюмочкой коньяка... Извините, Дима. Бровки слушает. Приветствуя вас! Все сделано.. Как условились. Там около пяти. Финский, отличный. Венгерского не получаем давно. Да, тот был поинтереснее. Перчик, специи, я сам предпочитаю... Да не за что, всегда рад. Так послать или от вас заедет? Саша заедет? Пусть прямехонько ко мне идет. Ну ради бога... Чем богаты, тем и рады. Всего вам наилучшего, здоровычика! Ксении Петровне привет и тоже здоровычика!.. Да... О чём мы, Дима? Кстати, сервелатом не интересуетесь?

— Нет, я вегетарианец.

— Правильно делаете. Особенно если сырье овощи употреблять, варить не нужно...»

Первушин выключил Александра Карповича и взял записную книжку. На ее страницах была запечатлена мозаика наблюдений. Он прочитал наугад:

«...3 октября, после трех. Отдел гастрономии. За прилавком Полечка, так зовут ее некоторые покупатели. Перманентно грязный халат. Особенно фасад. Долго недоумевал: почему? Потом увидел: она вытирает об него руки. Встал в очередь: Из дверей подсобки вышла женщина. Полечка «завесила» (принятое выражение) 1 кг сосисок женщине, а потом еще кг и еще. Завертывала и складывала под прилавок.

— А это кому? — устав ждать, спросили из очереди.

— Подшефный, — лаконично ответила Полечка и «завесила» еще два раза по кг.

Весы ее стоят почему-то у стены. Габариты Полечки полностью загораживаются стрелки. Все же успел заметить: дважды она недовесила граммов по десяти...»

Дочитав страничку, Первушин стал подбивать бабки. Заметки, магнитофонные записи и фотографии полностью подтверждали жалобы покупателей гастронома номер три-бис. Культурой обслужи-

вания гастроном действительно не блестал. Не было здесь ее интеллигентной ноги, не оставила она заметного следа.

«Пора писать!» — решил Первушин и начал обдумывать ход, заголовок и концовку. Полет творческой мысли прервал звонок почтальона. Она принесла извещение на посыпку. Первушин извещению удивился, и долго его рассматривал. Отправителем своего адреса не указал, а штампы оставались загадочными, как не расшифрованные письмена древних. Вскоре Первушин решил, что в посылке содержится очередной розыгрыш знакомого фотокорреспондента, и, сторгая от нетерпения, помчался на почту. Ящичек оказался небольшим, но тяжеленьким. Обратный адрес был странным: «Столино, Эн-ской области, ул. Гоголя, 8, П. П. Пружинину». Еще более распластаясь любопытством, стоя на бегу планы ответного розыгрыша и ухмыляясь, Первушин прибежал домой, взял клаши и начал распаковывать. Под крышкой лежала открытка с изображением тюльпанов; золото букв гласило: «Поздравляю!» На обороте располагался короткий, со вкусом составленный текст: «Поздравляю с наступающим! Желаю здоровья, успехов в прессе и большого личного счастья!»

Первушин замер с клашами в руках. Влекущий запах колбасы мгновенно сориентировал его на гастроном номер три-бис. Вызвать двух свидетелей было делом минутным. Пришли соседи Веря и Тофик Кубеевы. Веря писала, мужчины диктовали. Опись в ее конченном виде, после «мы нижеподписавшиеся» и других отвечающих моменту выглядела так:

1. Сухая колбаса, три батона, длиной 37, 38 и 42 см.
2. Икра зернистая — три б. по 50 гр.
3. Икра кетовая — 3 б. по 140 гр.
4. Рыба неизв. хол. копч., длина 36 см.
5. Шпроты — 3 б. по 175 гр.
6. Кофе инд. раст. 1 б.

— Хорошо тебя оценили! — сказал Тофик и, перевернув крышку, начал закапливать ящики с благами. На чистом пространстве Первушин самолично вывел адрес столинского мецената прессы. На почте ходили втроем, а квитанцию Кубеевы посоветовали взять под охрану как ценнейшее свидетельство неподкупности.

В этот вечер Диме Первушину уже не работалось: он поехал к товарищу, съел ужин хозяев, потому что в последние дни забывал пообедать, и посмотрел хоккей в нормальном семейном кругу. На следующий день он был уже в хорошей форме и напечатал на машинке весь материал в один присест. Первонациально придуманный заголовок «Что я видел в гастрономе номер три-бис?» показался вялым, он долго думал, пока не родилось оригинальное «А покупатель-то прав!». Отредактировав сам себя и перепечатав рукопись заново, Первушин сел в автобус и отвез фельетон завотделом Костецко-

му, который слыл в газете самым интеллигентным и самым придирчивым по литературной части человеком. Первушин выложил на стол письма граждан, расшифрованные записи и прочий фактический материал. Фельетон прошел на «ура» и через несколько часов стоял в номере.

Еще через сутки на автора обрушился бодрящий поток поздравлений и откликов. Плечо ныло от дружеских похлопываний коллег, голос слегка сел от разговоров по телефону с благодарными читателями. Первушина вызвали «главный», пожал руку, сказал хорошие слова и отправил в срочную командировку по письму, которое требовало особо тонкого расследования.

Командировка прошла удачно. С аэродрома Первушин махнул прямо в редакцию: дома его никто не ждал, а на работе буфетчица Зина по утрам готовила для желающих отличный омлет с хлебом под названием «верещага».

— У Костецкого был? — спросила она Первушкина и посмотрела со значением.

— Нет еще. А он здесь? И почему, собственно, ты меня об этом спрашиваешь? — поинтересовался Первушкин.

— Зайди, узнаешь сам, — с еще большим нажимом произнесла Зина. Она всегда была в курсе редакционных дел и сейчас знала все, понял Первушкин, но не хотела говорить...

И вот он у Костецкого. Тот расспрашивает о дороге, о погоде на юге, сообщает, что в филармонии состоялся очередной концерт по абонементу камерной музыки, а вчера вечером шел снег с дождем, причем скорость ветра достигала 14 м в секунду. Затем в том же повествовательном тоне говорит: в гастрономе номер три-бис по поручению гортторга обсудили фельетон и обвинили Первушкина в необъективности, сгущении красок и т. д. Гортторг требует опровержения на страницах «Городской звезды». «Главный» категорически против и предлагает как компромисс — вынести взыскание Первушкину. Гастроном такая развязка, кажется, устраивает...

Не сразу пришел в себя Первушкин, а когда пришел, твердо объявил, что будет биться за каждое слово фельетона «А покупатель-то прав!». И вообще разве редакция перестала доверять сотрудникам?

— Доверять-то доверяет, — вздохнул мягкий Костецкий, — но ситуация... Попробуйте извиниться, — неожиданно предложил он.

— Извиниться?! За что?! Перед кем?!

— Господи, Дима, — пояснил Костецкий, — конечно же, перед гастрономом, перед директором. Он звонил мне и произвел впечатление достойного человека.

— Достойного! — вскипал Первушкин. — Да вы только вспомните посылку из Столино! Нет и нет! Я потребую созыва редколлегии и докажу свою правоту!

Стороны к соглашению не пришли, и Костецкий все-таки написал «последушку», так называли в редакции отклики на фельетоны и критические статьи.

Она могла понравиться всем, даже неуступчивому Диме и крутому «главному», не говоря о директоре, который производил хорошее впечатление, и поэтому Костецкий ею гордился:

«Коллектив гастронома номер три-бис на общем собрании обсудил по поручению гортогра фельетон Д. Первушкина «А покупателю-то прав!», опубликованный в газете «Городская звезда» 10 октября с. г. На собрании признавалось, что за последний месяц коллектив действительно снизил уровень высокой культуры обслуживания, что выразилось в ослаблении внимания к смене халатов.

Как сообщили нам директор гастронома номер три-бис тов. Бровкин А. К., отмеченный недостаток в ближайшее время будет исправлен. Одновременно в своем сообщении тов. Бровкин А. К. правильно указал на тот факт, что автор фельетона сконструировал краски, о чём говорили в своих выступлениях работники гастронома, неоднократно занимавшего призовые места на смотрах культуры обслуживания.

Редакцией газеты сделано тов. Первушину Д. Н. предупреждение в плане необходимости более объективного изложения фактов».

«Главный» одобрил последушку, и Костецкий отправился в стан противника с белым флагом мира. Но чем ближе он подходил к гастроному номер три-бис, тем меньше его привлекала миссия миротворца.

«Почему, собственно, мы идем на попятный! — рассуждал он про себя. — Не хотим лишний раз ломать копья, а ведь Первушкин, в этом я уверен, не придумал ни одного факта. Компромисс в данном случае — помощник плохой, так черт-те куда зайдешь...»

Он взял да и повернулся восвояси.

РЕФОРМАТОРЫ

Инспектора отдела по озеленению и обводнению Матвей Акишин и Владислав Сургуч вернулись в свою комнату рассстроенные, если не сказать больше — возмущенные: ни тот, ни другой не значились в приказе о выдаче денежных премий, только что зачитанном председателем профбюро на собрании. Они тяжело опустились в кресла и закурили.

Мощный телом, полнолицый Акишин молчал.

— Ну, тип! Ну, фрукт! — нервно заговорил худой, острославый Сургуч, имея в виду начальника отдела Николая Петровича. — Как срочные расчеты, так Акишин и Сургуч. Других нет, все интеллектуальные имплементы. Как раздача прянников, так Бромушкин и Поливанов, фантазеры и пенкосниматели, знатоки парковой культуры, так

сказать... — Последовало крепкое выражение, и Сургуч, несколько остудив ораторский пыл, на время замолк.

Акишин, естественно, не дал заглохнуть беседе.

— В первом списке мы с тобой черными по белому стояли, я сам видел, — раздумчиво протянул он. — Однако Николаю Петровичу милей другие. Мы черная косточка, они белая. Начальству, говорят, виднее...

— О господи! — простонал Сургуч. — Какой он начальник! Размазня и неврастеник, вот кто он есть, был и будет. На его месте я бы давно перевернулся здесь все к чертовой матери!

Сургуч устроился в кресле поудобнее и начал набрасывать картину кадровых перемен:

— Сезон преобразований я бы открыл Поливановым. Мне нет дела, что он талант и несет себе творческий заряд. Пусть уходит на заслуженный отдых и разбивает зимний сад у себя дома. Заодно с ним пора на покой и скульптору-консультанту Бромушкину. Зачем эта ходячая энциклопедия и опыт всех времен и народов? Есть справочники, альбомы, музеи, наконец!

Вообще-то отделу необходим допинг, молодая кровь. Набрать девочек, они освещают атмосферу, на них приятно смотреть. Они стимулируют... Набрать мальчиков, этаких современных шустриков. Они и дефицит раздобыдут, и билет на хоккей обеспечат, и на сверхуручную останутся... Знай командой ими.

Впрочем, при правильном раскладе один из нас может спокойно занять место Бромушкина.

— Вот уж не рвусь... — лениво вставил Акишин.

— Не скромничай, Матвей, не прибедняйся: честолюбием тебя природа не обделила... Ну-с, продолжим. Под тем или иным соусом я бы уволил или подбросил соседя Баташникова. От ее принципиальности у меня делаются конвульсии. Неплохо было бы подыскать другое место и Рогачеву. Молодой, да ранний, тоже мне гений садовой архитектуры. Я шалял в его присутствии, а мне это ни к чему. Повторю: необходим допинг, но... не за счет гениев.

Теперь относительно нашего шефа. Правда, он орешек крепкий, да и возраст не подошел. Сколько ему, кстати?

— Такие даты, Владик, не забывают, — пробасил Акишин, — прошлым годом полувековой юбилей отмечали. Ты еще дружеский шарж рисовал: дорогой именинник в рамочке из роз.

— Да, забыл, в чём и каюсь. Розовый венок к славной годовщине. Время зрелости и тому подобное. Значит, ему сейчас пятьдесят второй. Трудный случай. Может задержать здоровую кадровую перестройку.

— И слава богу. Уж больно ты крут. Одни увольнения, — заметил собеседник. — А беда нашего несравненного начальника не в том, что он размазня. Масштаба в нем нет. Я бы на его месте давно составил



генеральный план озеленения Синегорска лет этак на пятьсот, до две тысячи пятидесяти года.

— Ну, Акишин, ты даешь! — вскочил Сургуч. — К чему такие немыслимые сроки? И в пределах родного, двадцатого хватает работы.

— А к тому мне такие сроки, чтобы помнили о нас потомки! Вот на кого работать нужно! Акрополь поставить в центре Синегорска. Разместить в нем все центральные учреждения, включая наш отель. К акрополю примкнет площадь торжеств с трибуналами для лучших людей города. Оба сооружения заключить в зеленый овал парка. Сам парк опояшется голубой лентой канала, берега которого видятся как бархатные газоны с островками маргариток и крокусов. От газонов лучами расходятся аллеи города-парка. Все утопает в зелени. Флора севера перемешалась с флорой юга; каштаны и кипарисы у нас отлично растут. Аллеи каштанов. Аллеи дубов. Аллеи...

— Ну, Акишин, ты даешь! — повторил Сургуч. — А жилые кварталы куда?

— Прозаик ты, Владислав Сергеич, прозаик! Жесткий человек! Одни увольнения в голове. Ни полета фантазии, ни элементарной сообразительности. А ты мысли эпохально, стремись к потомкам, к поколениям, которые грядут!

— Я именно о потомках. Жить-то где? Ты же типичный мечтатель. Если не хочешь подумать о жилых кварталах, скажи по крайней мере, с чего начнешь воплощать?

Акишин развелся руками при мысли о том, как он вершил бы делами, доведясь ему взглянуть на отдел, покинул уютное кресло и витийствовал, расхаживая по комнате.

— Воплощать! Очень просто, Владик, — воскликнул Акишин с интонацией мага. — Докладная записка в горисполком. Центр города консервируется. Все службы выносятся в новый микрорайон. Начатое заселение микрорайона приостанавливается. Такой первый этап. Затем набрасывается генеральный план на пятьсот лет третьего тысячелетия...

— Твой первый этап пахнет сотнями миллионов, — прервал товарища Сургуч с такой живостью, будто один из запланированных миллионов ему пришлось бы снять с личного счета.

— Именно миллионы! — не менее живо откликнулся Акишин. — А почему нет? Почему не вложить? Почему не размахнуться? Не создать ансамбль века? Да что века — тысячелетия!

...Дверь отворилась, и в комнату вошла Джинсина, — так сотрудники прозвали секретаря начальника за пристрастие к брюкам заграничных кровей. Сегодня на Танечке-Джинсине оказались брюки алого цвета в узкую белую полоску.

— Вас просит Николай Петрович, — объявила Джинсина.

Немая сцена продолжалась недолго: Акишин и Сургуч были в превратностях службы людьми закаленными.

— Кого это — вас? — осведомился Сургуч.

— Вас — это вас и Матвея Платоновича.

Реформаторы, загасив сигареты, двинулись следом за алыми джинсами.

В кабинете начальника сидел председатель профбюро Батурин.

— Матвей! — сказал шеф. — Владик! Я вас зачем пригласил... Тут, понимаете ли, произошла досаднейшая ошибка...

— А все Джинсина, Джинсина! — воскликнул Батурин.

— Именно она, — подтвердил начальник. — Наши очаровательные танечки перепутала две последние страницы. Страницу письма в министерство подложила к приказу о награждении, и наоборот. В приказе сегодняшнем у вас отмечены премией, но зачитать этого, естественно, было нельзя... Уже после собрания Витя Батурин зашел ко мне и спросил, в чем дело, а я, собственно, и сам поначалу растерялся. Так что приносим извинения, а заодно поздравляем. Утром будете на доске приказов.

— Страна должна знать своих героев, — пошутил Батурин и добавил, — деньги завтра, после двух.

Произошел подобающий случаю обмен рукопожатиями. Награжденные произнесли традиционное: «За нами не заржавеет!» — и удалились.

— Ну и ну! — с облегчением вздохнул Акишин в коридоре.

— Дела-а-а, — только и сказал Сургуч.

Коллеги помолчали и, не сговариваясь, посмотрели на круглые часы над дверью. Стрелка подвигалась к шести.

— Ты как относишься к идее отметить награждение? — спросил Акишин.

— Здоровая идея, — одобрил Сургуч.

Идею реализовали в кафе за углом.

ХРОНИКА БЛАГОРОДНЫХ ДЕЯНИЙ

Лев Крошкин — мужик умный, но часто пережимает. Возьмем наши отношения. Мы, что называется, приятели. Соседи по дому. Работаем в одном секторе. Вместе пьем кофе. Вместе обедаем. У него дискотека, и у меня дискотека. Он записывает, и я записываю — на маг, естественно. Ну и тому подобное. У меня от Крошкина — никаких тайн. Почти. В отличие от него, потому что он человек сдержаненный, скрытный. Весь в себе. Я мужик нараспашку, и Лев — повернутый в моих делах, служебных и личных. Он умеет дать дельный совет, это ценно. Но, повторю, пережимает. Бывает неприятно резковат. Не интеллигентен.

Недавно пошли в кафетерий. Сидим, пьем кофе. Я рассказываю ему про Лопашину. Тому нужна новая публикация, а стилист он никакой.

Шпарит одну научную терминологию, не продержишься. Попросил меня прочесать статью. С какой стати? Свободное рабочее время мне самому пригодится. Читать дома —увольте. Я Лопашину прямо в глаза все сказал, иу потом, естественно, изложил эпизод Льву. Он посмотрел на меня и говорит:

— Надоел, — говорит, — ты мне, Иннокентий, со своими штучками. У тебя, — говорит, — эгоизм уродьбы какой-то, неистребимый, и ты до того дошел, что всякую меру потерял. Ведь не Лопашин, — говорит, — свинья, а ты, потому что отказал человеку, который натуралист от бога, теоретик и практик в одном лице. Стиля ему бог не дал, а все остальное при нем. В тебе же, — говорит, — добра — ни на грань, ты засыпался на себе, и тошка...

Это во мне-то нет добра! Мне, который в прошлом году за Жоржа Гуськова три часа арбузы разгружал, когда к нему невеста из Риги приехала. Я, естественно, не стал Льву об этом напоминать, но решил вести дневник. Свои благородные поступки нужно фиксировать, знать себе цену. Голословных обвинений я впредь не допущу!

11 января 1981 года

В сущности, в жизни всегда есть место хорошему поступку. В большем или меньшем масштабе. Сегодня дикий гололед. Выхожу из подъезда, смотрю — стоит женщина. В руках две прилично набитые сумки. Пригляделся — наша Аделаида. Боятся идти, ноги разъезжаются. На улице лед, а у нее возраст, отложение солей и тому подобное. Взял ее под руку. Забрал, естественно, обе сумки и повел. У своей остановки хотел бросить, но не смог — втянулся. Дошел с ней до подземного перехода, поставил на чистую ото льда ступеньку и только тогда попрощался. Аделаида благодарила, бормотала птичьи слова. Мелочь, казалось бы, а приятно.

3 февраля

Вчера был у деда на дне рождения. Не видел его тысячу лет, позвонила мать, уговорила, и вот вместо аргентинского фильма «Мондии с Вероникой» пошел на Ордынку. Деду, оказывается, восемьдесят четыре. Бабушке тоже, но она симпатичная. Оба, увидев меня, прослезились, потому — любимый внук. В качестве подарка просверли деду четыре дырки под цветочные полки. Дальше была скуча. Сплошное ретро. А помнишь, а помнишь... Порылся в пластинках. Нашел Вергинского, взял себе. Пойдет! На прощание предки тряхнули банковским счетом и подарили мне сто рублей. Я благодарно отказывался, но не мог не взять. Уверяли, что для них это удовольствие. В конце концов подумал, почему не доставить? Взял.

24 апреля

Горжусь собой. Сегодня вел себя как джентльмен. Нашему сектору мlekopitaющих дали три льготные путевки на туристскую поездку Ташкент — Самарканд — Бухара. Поднялся ажиотаж. Еще бы: пять дней праздника, билеты со скидкой, готовый гид, мечети и тому подобное. Особенно загорелись женщины. Все хотят, все только об этом и мечтали. Решили тянуть жребий. Ну, жребий так жребий. Я принес свою шляпу. Тянут. Две путевки уже вытянули, осталась одна. Ажиотаж предельный. Подходит моя очередь — я отказываюсь, добровольно уступаю свой шанс. Меня уговаривают, но я твердо стою на своем. Путевка досталась Зарайскому. Пусть едет, ему давно просветиться нужно, а я сяду в свое ландо и махну на дачу к Гулевичам. У них роскошное помещение.

После жеребьевки был произведен в героя дня. Колосова сказала: «Пискунов поступил благородно». Вот так.

6 мая

Интересная психика у людей. Если я вчера поступил благородно, значит, должен так же поступить и сегодня! Ну и ну.

Не успели мы прийти в себя после праздника, как получили от управления делами новую комнату. Опять все заволновались, и один за другим пошли к шефу проситься в эту комнату, где можно сидеть вдвоем. Я тоже пошел, потому что тоже хочу сидеть вдвоем. С Людочкой, например. Пощел и начал доказывать, что от меня этого не ожидал. У меня в запасе был сильный аргумент, и я мог шефа дождат, но тут вошел Лев. При нем я дожимать не стал, а в знак того, что сдаюсь, поднял руки и мило улыбнулся.

Очко в мою пользу.

28 июля

Давно не писал — был в отпуске. Отдохнул отлично. Море, солнце, шашлыки, красивые женщины — больше ничего и не надо. Все забыл — сектор, неотремонтированный гараж, все! Полная нирвана, как в бани. Впервые за последние пять-шесть лет с юга написал старикам. Они были счастливы и ответили авиапочтой.

На работе мой загар встретили восторженno. Это понятно. Узнал новость: Валерия легла в больницу с очередным кризисом. Гипертония в тридцать лет, но факт. Поехал к ней вместе с Тютюшней, которая все хорошее, вот девочка! Повез два килограмма фруктов: сливы и яблоки. Валерия, увидев меня, заплакала — не ждала, хотя мы с ней в одной школе вместе учились. И, как говорят, знакомы домами. Без грима она выглядит лучше. Естественней, что ли.



29 июля

Вчера, уже захлопнув дневник, подумал: что-то забыл записать! Но заклинило, не смог вспомнить, а сегодня озвирло: я же перед отпуском шефа на дачу перевозил. Он сам меня попросил. Вообще-то на машину для чужих у меня табу. Не из-за бензина, который тоже денег стоит, а принципиально. Автомобиль дает мне чувство свободы и экономит время. Если я кого-то везу, то становлюсь шофером и сам себе не принадлежу. Это неприятно. Обслуживать «пассажиров» я считаю глупостью, мои старики и те давно оставили меня в покое.

Шефу, однако, отказывать не хотелось, тем более в секторе я, кажется, зарекомендовал себя после самаркандской путевки самым хорошим парнем. Поездка оказалась элементарной. Рабочей силы у шефа хватает, я был нужен для переброски женщин и детей. На даче тоже кое-что перенес, победал и в половине четвертого был дома.

У начальства теперь как родной: улыбки, уступки и тому подобное. Это приятно, но главное — красиво держался, вот в чем изюм.

27 сентября

Сегодня пожинал плоды доброй воли. Идет сентябрь, пора сбора и отгрузки плодов земли. Участились поездки на овощную базу. Пока стояло бабье лето, народ отрывался от основной работы легко, но с наступлением похолодания число энтузиастов упало. Пришли ко мне, хотя я уже там был. Пока я внутренне прикидывал — ехать или бунтовать, женщины вспомнили, как я отказался от турпоездки, а недавно в числе первых посетил овощную базу. Они потребовали справедливости, заявили, что нельзя абсолютно все взваливать на одного человека и тому подобное. Составитель списка Валентин Филимонов ушел от нас, не решив проблемы.

Я уже не раз замечал: очень сильная штука репутация. Раз ты хороший, можешь даже гадость сделать, с тебя все стечет, как с гуся вода. Раз ты плохой, не ходи на Эверест в интересах общества. Выйдешь, все равно не поверят, а если поверят, не придадут значения. Я хороший и поэтому вдогонку за Филимоновым не побежал и на базу не поехал — массы не хотят!

12 октября

Снова герой нашего времени. Тютюще исполнилось двадцать пять. В секторе устроили маленький банкет с шампанским, и тут уж я показал себя с лучшей стороны. Сейчас, оглядываясь на прожитое, удивляюсь, как это я все успел. Со Львом на пару поехали сначала за шампунью (7 бут.) и за фруктами на Центральный рынок. Потом к Тютюще домой за пирогами, которые мама напекла. Только

собрались спуститься вниз и предварительно пообедать, как кто-то обнаружил, что не куплены цветы, и я отправился за розами. Не успел их доставить, прибежала сама Тютюща с опрокинутым лицом — она забыла принести кофе и умоляет «добыть» свежемолотого или по крайней мере растворимого. Я буквально стоял на ногах, но собрался с силами и двинул на Пушкинскую... Кончились тем, что за меня предложили первый тост, но шеф вовремя поправил и начали с именинницами...

Потом говорили слова про меня, было приятно. Ничто человеческое мне не чуждо!

30 ноября

Звонила мать насчет деда. Просила почтще его вспоминать и заглядывать. Ну что же, выдать звонок, пообщаться — это реально, но ездить... Матушку мою заносит. Дед с бабушкой живут на Ордынке, я на Черняховского — один бензин во что обойдется, а время! Им-то спешить некуда, а каково нам. Эпоха другая, совсем другая, нужно в конце концов это понять. До нового года, естественно, и думать нечего. Может быть, в феврале заеду к Дне Советской Армии. У деда вся грудь в орденах.

С этим решил.

Только что пришел от соседей — фиксирую. Живут две сестры — пенсионерки. Еще очень и очень ничего, но боятся высоты. Залез на стремянку и поменял лампу в люстре. За то, что забрался под потолок и не свалился им на голову, был осыпан комплиментами, как космонавт, и награжден банкой варенья. У собственной двери очень кстати встретил Льва Крошкина. Он не упустил случая показать клыки: «А я думал, тебе все лампочки до лампочки».

24 декабря

До сих пор зол, как черт, но все же пишу. Шеф, который прекрасно знает, как я встречаю Новый год — не где-нибудь, а в экзотическом месте и обязательно прихватываю дня два-три, чтобы покататься на лыжах, записал меня тренером в зимний детский лагерь! Черная неблагодарность! Чьи-то дети поедут на каникулы за город укреплять расшатанное школой здоровье, а я буду с ними физкультурой заниматься! Ну не бред? Спрашиваю: «Нельзя ли выделить для этой цели родителя или родительницу? Кстати, и за своими бы присмотрели!». Отвечает: «Можно, но ты у нас единственный разрядник. Остальные дилетанты со спортивным образованием в объеме неполной средней школы».

Но я-то в Архангельск собрался, у меня свои планы! Выкладываю их шефу, он уже поддается. И тут по известному закону подлости,

когда мы уже подыскиваем кандидатуру на замену, входит Колесникова, эта большая энтузиастка спортивных начинаний (лучше бы при ее 90 килограммах подумала о собственной спортивной форме). Колесникова начинает мне льстить и опять-таки вспоминает сармакандскую путевку и мой джентльменский жест. Пришло популярно объяснить разницу. В Самарканда я мог ехать и не ехать, у меня были другие, не менее интересные варианты, а вот вариант со школьниками поездки в Архангельск никак не заменит. Колесникова и шеф посмотрели на меня так, как будто не узнают. А я всегда был такой. Миндалничать с тем, кто наступает на мое кровное, не буду. Я встал и ушел. Надеюсь, больше они ко мне не пристанут.

Кстати, Лев Крошкин на целый год уезжает в командировку. На месте ему не сидится... Естественно, эгоистом и тому подобное меня теперь никто не обзовет!

На двадцать четвертом декабря дневник, к сожалению, обрывается. О других благородных деяниях Иннокентия Пискунова человечество так и не узнает...

УЧЕНЬЕ—СВЕТ

Под окнами дома дворник с метлой. Из подъезда выходит лифтерша.

— Гляди, — говорит дворник, показывая метлой на светящиеся окна, — все нормальные люди по субботам культурно отдыхают, а эти ученыe кандидаты до утра свет жгут...

Лифтерша задирает голову вверх.

— Работы у них много, вот до утра и не управляются, — поддерживает она дворника.

Огни в доме один за другим гаснут, а из подъезда выходят школьники — кто с ранцем за плечами, кто с портфелем в руках.

— Вот тебе и ученыe кандидаты, — всплескивает руками лифтерша, — это же наши ребята по субботам учиться идут!

— Смотри ты! Значит, у них рабочая неделя больше, чем у этих самых ученыe кандидатов. — Дворник в недоумении покачивает головой.

— Я лично интересуюсь, когда всем школьникам облегчение выйдет, — не успокаивается лифтерша. — Жалко их, перегружены бально. Слышила, опыты по введению пятидневки в разных школах проводятся, да дело что-то медленно поддвигается. А тут еще родители заставляют ребят то на пианино учиться, то плаванием заниматься, то теннисом, то хоккеем... — продолжает она. — Поутру в школу спешат, а их, как тростиочки на ветру, качает.

— Потерпи маленько, — говорит дворник, — для ребятишек перемены к лучшему уже наметились.

— Знаю, педагогические академики ломают голову над учебной пятидневкой для шестилетних малышей. Не затянули бы только...

— Ничего, — успокаивает дворник, — работа сложная, и заботы академиков понять надо. Зато сделают всерьез и надолго. А малыши подождут. У них вся жизнь впереди! А я так располагаю, моя трехлетняя внучка подрастет вовремя: два выходных у нее будет.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ МОНОЛОГ

— Говорят, жизнь быстро проходит. Быстро-то оно быстро, да не в том беда. Знать бы, как прожить. Я вот, Клавдия Михайловна Крапивницкая, дожила до пятидесяти восьми лет и осталась одна...

Родилась я и выросла в Можайске. Может быть, знаете, есть такой городок под Москвой, там у нас неподалеку Бородино. Знаменитое место.

Отец мой работал на железной дороге и дружил с одним обходчиком, у которого был сын Костя. Отцы про нас, маленьких, говорили в шутку: жених и невеста. А мы подросли и вправду влюбились друг в друга. Чуть смеркается, Костя бежит. Летом каждую зарю встречали. Потом Костя ушел в армию, на флот. Меня такая тоска разбрала, что я решила бросить учение, уехать в Ленинград и там работать. Думала, Костя рядом будет, поженимся. Так и сделала. Только отец мне работать не разрешил, а наказал учиться дальше. Он мечтал дать своим детям хорошее образование, чтобы каждый специальность имел. Я поступила в фармацевтический техникум и устроилась в общежитии. Каждое воскресенье с Костей встречались, он из Кронштадта приезжал. Бывало, в выходной раньше всех встанешь. И причесаться, и погладить, и одеться успеешь, сидишь как на иголках, ждешь его. Девчата еще спят, а за дверью уже шаги. Костя широко шагал. А потом стучит осторожно, три раза. Всегда с улыбкой. Зубы белые, ровные, глаза голубые, так и играют. Я женщина высокая, а до плеча ему едва доходит. Красавец. Девчонки на него заглядывались, но меня это не беспокоило. Казалось, нас никто не разлучит.

Но что вы думаете? Не поженились мы.

Летом гостила я дома, Костя тоже приехал на побывку. Один раз собрались друзья, вина взяли, закуски — и в лес. День был жаркий. Наши парни быстро захмелели. Разбрелись с девчатами кто куда. Мы с Костей — помню, словно вчера было — пошли за ромашками. Идем лугом. Тишина. Кругом — ни души. Большой букет набрали. Я села в траву, взяла один цветок и говорю Косте:

— Сейчас погадаю, любишь или нет.

А он опустился рядом, смотрит на меня какими-то не своими глазами, даже потемнели они у него, и отвечает:

— Зачем гадать, знаешь, что люблю. Только жалости в тебе нет...
И вдруг повалил меня, целует, уговаривает: чего нам ждать, если любишь, не мучай. Мне страшно стало, отбиваюсь изо всех сил, вырвалась, вскричала. Он тоже поднялся, грозит:

— Смотри, спохватишься, да поздно.

— Нет,— говорю,— Костя, как решила, так и будет. Не могу я, не проси и не грози!

Он свое твердит:

— Не любишь. Все вы на один манер, лишь бы нашего брата к своему хвосту пришипить.

Повернулся и пошел. Я упала на землю, зарыдала. Обидел он меня. Но плакала я не от обиды, а от горя, точно знала: не видать мне больше счастья.

Вскоре мы помирились. Он раньше меня уехал в Ленинград и сразу написал. Я не отвечал. Пришла ко мне его мать. Уговаривает: мало ли что по молодости бывает. Он снова пишет: Клава, милая, прости. Я ответила — встретимся в Ленинграде, жди. Но что-то подломилось во мне, не забываю обиду. И хочу его видеть и не хочу. И люблю и не люблю. В общежитии подруги как только узнали, из-за чего мы пересорились, в один голос заладили: зря прощаешь, помучай его, пусть походит, много их таких. Одна, Зина, особенно меня настраивала. Он придет, она меня под кровать спрячет, сама откроет дверь и говорит:

— А Клавы дома нет, на спевке она.

Или звонят он по телефону, я выхожу в коридор, беру трубку, а Зина уже командует: скажи, нет тебя, на занятиях. И я голос менюю:

— Клава на занятиях.

Он удивляется.

— Какие же занятия вечером?

А я:

— Дополнительные, по неотложной медпомощи.

Так ишло. Закрутили меня совсем девчонки. Он все терпел. Подошел Новый год. У нас в техникуме бал, а Костя дежурит по училищу. Тогда-то я и познакомилась с Виктором Павловичем Крапивницким, его привел один наш преподаватель. Крапивницкий заметил меня и весь вечер не отходил. Внешность у него была неприятная: костлявый, длиннорукий, мешковатый. Как будто не стар, а пlessь во всю голову. Лицо длинное, нос длинный, глаза ровно пустые. Непривлекательный. Особенно не понравилось мне его поведение. Все кланяется и просит: пожалуйста, разрешите, позвольте... Про себя рассказал: ему давно за тридцать, инженером на заводе. Квартира из трех комнат, вид на Неву, машина. И, представьте себе, так пристал, что проводил до общежития. Идем мы по набережной, и как раз снег выпал. Крапивницкий совсем меня заговорил. Я молчу, жмуся от холода, пальто на мне легкое. Да и говорить не

хотелось. Иду, смотрю на реку, в том году она долго не вставала. Вода чернеет дегтя. Жутко. Почему-то подумалось мне про утопленников, страшная у них смерть. Мой кавалер заметил, что я дрожу, пошли быстрее. У ворот прощаемся, он руку жмет и назначает свидание. Прихожу в комнату, девчата уже в постелях. Смеются: теперь и у Кости соперник есть. Я только рукой махнула, а Зинаша говорит:

— Ну, Клавка, не упускай случая. Пусть Константин позлится, большие ценить станет. Не мог на вечер отпроситься.

Что же, думаю, это верно. И отказывать Крапивницкому неудобно: интеллигентный все-таки человек. Он позвонил на следующий день. Вечером явился, принес конфет. Костюм на нем прекрасный. Вежлив хоть куда. Девчонки мои растягли. А мне неловко: на что я ему, не пара! Правда, я была видная. Меня все цыганкой звали за черные глаза.

Ну раз пришел, другой, в театр ходили. И вдруг делает мне предложение. Я оторопела. «У меня,— говорю,— Виктор Павлович, жених есть».

Он подробно расспросил, кто он, жених, где служит, где живет. Удивился, когда узнал, что Костя здесь, в Ленинграде. А потом решил: «Конечно, в вашем положении трудно сделать выбор. С Костей вы связаны дружбой и обещанием. К тому же земляки. Все это чувства неплохие. Но и вас полюбил. Даю вам небольшой срок: скажем, три дня. Подумайте над моим предложением, посоветуйтесь. Такой шаг нельзя делать опрометчиво».

Поднял воротник и ушел.

Зинаша, когда узнала, что Крапивницкий делает предложение, затвердила одно:

— И не задумывайся, выходи!

— То есть как это выходи? А Костя?

— Брось ты за своего Костя держаться, ему еще три года труить в училище.

— У нас с Костей уговор. Он меня любит.

— Он тебя любит?! Быстро прощаешь. Вот увидишь, сидет он на тебя верхом, да погонять будет.

— Костя,— говорю,— не из таких!

Она не уступает:

— Все равны. А главное, только представь, как он злиться будет: вышла замуж, утерла ему нос. За инженера пошла! В шикарной квартире будешь жить, в интеллигентной семье...

Уговарила она меня. А что, думаю, и правда, насолю Константину. Мало он меня ценит. И обида за то, летнее, точит меня, не могу ее забыть. Прошло два месяца, и стала я Крапивницкой. Свадьбу отпраздновали скромно.

На другой же день поехала я в общежитие — будто за вещами, а на самом деле мурзино мне стало, места себе не находила. Приезжую.

Девчата еще на занятиях. Ну, думаю, возьму ключ, подожду их. Смотрю, ключа нашего нет. Я обрадовалась, что-то все же дома. Поднимаясь наверх, открывая дверь, вижу — сидит на моей койке Костя. Кинулся ко мне, взял за руки и, не поздоровавшись, говорит:

— Клавка, родная, догадайся, зачем приехал?

Я головой покачала, а сказать ничего не могу, язык словно не мой. Только стараюсь улыбнуться.

— Клавушка, я разрешенье получил. Хоть сегодня женись. Комнату дают...

И вот, представьте себе, до самого вечера мы с ним на этой койке просидели, ревем оба. Сначала он мне не поверил, потом умолял уйти от Виктора Павловича.

— Уйди, — просит, — от него, не жить мне без тебя.

— Нет, — отвечаю, — поздно, Костя. Вчера еще не поздно было, а сегодня нельзя. Я ему жена.

Костя проводил меня домой и стал частенько заглядывать. Я не запрещала, очень уж тосковала.

Костя приходил всегда с товарищем. Посидят, поболтаем, попьем чаю, уйдут. Крапивницкий и по вечерам работал. А я, бывало, кожу одна по комнатам. Они здоровые, высокие, заставлены мебелью. Мебель — старинная, тяжелая. На окнах — темные плюшевые портьеры. Все это угнетающе действовало на меня. И ни к чему руки не лежали.

Летом мы с Виктором Павловичем ездили за город, к его родителям. Они встречали меня приветливо, но так, без души. Родители, особенно мать, были недовольны выбором сына, но старались это скрыть. Других детей у них не было, и Виктора они не только баловали, но побаивались. Как захочет, так и будет. Он-то хорошо ко мне относился, а у родителей просто на руках носил. Чувствовал, тяжело мне там и оберегал...

Видно, он полюбил меня. Чем-то я, как раньше говорили, приворожила его, сама не знаю чем.

И когда Костя погиб, он мне очень сочувствовал.

Сел около меня на кушетку, обнял и говорит:

— Мужайся, Клавдия, большая беда. Заходили здесь моряки... Костя утонул. Дело ночью было. Перевернулась шлюпка. Костя, видно, головой ударился и потерял сознание, сразу ко дну пошел...

Я вырвалась из его рук, вскочила, кричу:

— Врешь! Заживо похоронить хочешь! Говори, где Костя, что ты с ним сделал?

Но это было правдой, и начал Костя меня мучать. Как помешанная ходила. Все думала: это я виновата, не потонул бы, когда бы не я. Ночами не сплю. С тех пор бессонница у меня. Пописала с полчаса и снова лежишь с открытыми глазами. Первые месяцы особенно тяжело было. Донимали кошмары. С утра, только встану, на глазах

слезы. И все казалось мне, будто Костя ходит за мной и зовет меня тихо, чтобы Виктор Павлович не услышал.

Купаться не могла, взгляну на воду — и чудится мне Костино лицо. Виктор Павлович ничинился со мной, как с ребенком. А я его близко не подпускала. Он и по врачам меня водил и на курорты возил, а толку никакого — не оставляет меня Костя, и все тут. Как только работала тогда, не знаю. А может быть, работа меня спасла. Она требует внимания, аккуратности, точности. В аптеке сижу спокойно, но только выйду за двери, все начинается сначала...

А в тридцать восьмом поехала я в деревню. Вместе с одной приятельницей, ее бабке. Эта бабка все обо мне узнала и очень меня жалела. Ласковая была старушка, подкармливала меня да разговаривала утешала.

Напеклась я однажды на солнце, спать захотела, свалилась на сено и в момент уснула.

Снится мне, будто я в своем классе в можайской школе, а впереди меня сидит Костя и пишет. Я привстала, смотрю через его плечо: что это он строчит? И вижу: ошибок насажал! В каждом слове ошибка. Я говорю: «Костья, ошибок-то у тебя сколько, не видишь разве?» Он повернулся ко мне голову, смеется и спрашивает: «А ты сама лучше пишешь? Бери мел, иди к доске. Посмотрим, какая ты грамотная».

Я раззадорилась, взяла мел, подошла к доске и стою — жду. А он.

— Пиши: Клава, живи спокойно, обо мне не думай.

Я говорю: «Разве это диктант, давай без шуток». А он снова свое:

— Пиши: обо мне не думай, живи спокойно.

И пропал.

Я просыпаюсь, вспоминаю сон и смеюсь про себя: надо же такому привидеться. На душе легко, просто весело. Вот, думаю, искупаться бы, вечером хорошо купаться...

Выхожу из сарайя, солнце садится. Тишина, покой. Первый раз за несколько лет пошла купаться...

Ну, вернулась в Ленинград. Жена я своему мужу? Жена. Стали жить. Он хорошо меня одевал, ходили мы в гости, а театры, по ресторанам. Через год у меня родился сын. К Виктору Павловичу я постепенно привыкла, из-за сына, конечно, да и пережили вместе немало. Перед войной мы похоронили одного за другим его родителей. Хорошо, не дожили старики до блокады, не мучались.

Началась война. Завод, на котором работал Крапивницкий, эвакуировали, но не весь. Виктор Павлович должен был остаться в Ленинграде. Не хотелось и мне уезжать, но Крапивницкий сам за нас с Олегом решил — погрузил на машину и отправил на вокзал.

Так мы с Олегом оказались за четыре тысячи километров от дома. Сына в садик водила, сама работала в госпитале. Между прочим, в госпитале ко мне привязался один артиллерист, и меня к нему потянуло. Веселый был такой, шустрый. Волосы темные, глаза серые.

Холостой. Его по ранению должны были демобилизовать, и он звал меня к себе на Дальний Восток. Очень мне нравился. Конечно, не сравнил с Костей, но сильно его напоминал. Напомнил он мне мою молодость, где она? Ну, думаю, поеду с ним, а как же Олег, как Виктор Павлович? Родного отца ребенку никто не заменит. Да и Крапивницкому трудно там, в Ленинграде. Люди от голода мрут, а я на сытую жизнь поеду. Отказала артиллеристу. Уехал. Несколько лет писал, но отступался.

Крапивницкий блокаду пережил, но, конечно, очень ослаб. Выхаживала его как больного. После войны тоже нелегко пришлось. Имущества никакого. Дом-то наш горел, мы все до нитки потеряли. А в конце сорок шестого Крапивницкого перевели в Москву. Полетели годы. Олег учился, мы трудились.

Наверное, прожили бы мы с Крапивницким до конца дней, не случись такая история.

Приносят мне письмо. Смотрю на штемпель — из Ленинграда. Адрес написан незнакомой рукой. Отправитель — Соколова А. С. Кто такая, не знаю. Распечатываю конверт, читаю. Эта Соколова писала о своей подруге Раисе Дмитриевне Зубковой. Мол — ваш муж, то есть Крапивницкий, имеет от Зубковой сына, который уже в девятом классе. Сама Зубкова работает в библиотеке. Оклад у нее небольшой. Крапивницкий ежемесячно деньги посыпает, но разве этого достаточно?

Зубкова — женщина скромная, просить ничего не будет, сами должны понимать! Мальчика надо одеть-обуть. Ну, и так далее. Письмо было длинное, и все-то она меня упрекала, эта Соколова. Как будто я что-нибудь знала. В конце просит о письме Зубковой не сообщать. Пишу, мол, по своей инициативе. Видимо, стараясь досадить мне. Соколова добавляла: хотя накануне отъезда в Москву Виктор Павлович порвал со второй семьей, о сыне он обязан заботиться по-прежнему и не ограничиваться присыпкой денег. Чем виноват мальчик? Достаточно того, что растет без отца.

Прочитала я письмо один раз, другой. Выходит, думаю, мы с Виктором Павловичем чужие люди. У него свое, у меня свое. Я считала, сын нас крепко связал, а у него другой на стороне рос!

Приходит Крапивницкий. Я после ужина подаю ему письмо и спрашиваю:

— Почему скрывал? Расскажи.

Он прочел письмо, отложил в сторону и говорит:

— Неприятно. Терпеть не могу баб, которые леют не в свои дела. Только не делай из этого истории, Клава. К сожалению, все это правда, но к тебе никакого отношения не имеет. Я по любви на тебе женился, сама знаешь. Ты была хороша, да и теперь интересная, привлекательная женщина. Относился я к тебе всегда с большим вниманием. Разве ты можешь в чем-нибудь меня упрекнуть? Нет. Лучше вспомни, как

ты вела себя. После гибели Константина я был, по существу, холост. В мои-то годы! Раиса Дмитриевна служила в городской библиотеке. Она приблизительно твоих лет и очень ценила меня. Мы сблизились. Родился ребенок, хотя я не настаивал на нем. Я по-прежнему окружал тебя заботой, а причина твоей болезни не могла не узвить меня. Но нас связывал брак, и я обязан был оставаться подле тебя. Кроме того, несмотря ни на что, ты была далеко не безразлична мне. Если хочешь, я не хотел отказаться от тебя. Ну, говорит, это сложный психологический клубок, и вряд ли есть смысл сейчас, спустя много лет, распутывать его. Естественно, в какой-то мере я привязался и к Раисе Дмитриевне. Она мягкая, славная женщина. Хорошо воспитана. Внешне не такая яркая, как ты, но очень милая. Она растила моего сына. Мог ли я не бывать у нее? Кстати, в данном случае я тщательно оберегал тебя, и ты узнала о моей связи лишь из этого глупого письма. Но все позади: мы объяснились накануне отъезда, да и не могла продолжаться бесконечно двойная жизнь. Раиса Дмитриевна в таком возрасте, когда трудно предъявлять к мужчине какие-то претензии. Георгия она воспитывала с моей помощью. Я часто навещал их и деньги давал. По сию пору высыпаю на него и, надеюсь, ты возражать не будешь. Мальчик не должен ни в чем нуждаться.

Я сижу, слушаю, а в голове одна мысль: «Что же это такое, зачем так жить, смысл в чем?»

Крапивницкому я ничего не сказала, а про себя решила: либо налоку на себя руки, либо уйду. Снова начали меня допекать головные боли, бессонница и в довершение всего стал пропадать слух. Я ведь налевое ухо не слышу, заметили, наверное?

Я была готова на самый отчаянный шаг. Олег, сам того не зная, меня удержал. Ему шел шестидесятый год. Возраст трудный, переломный. Боялась я, как бы не затянула его улица. Водка начнется, девочки. Знаете, в таком возрасте и под дурное влияние попасть нетрудно. В конце концов решила: много лет терпела, потерплю еще два года. Кончит десятилетку, поступит в кораблестроительный — у него с детства появилась такая мечта, и тогда — все!

Олег получил attestat, уехал в Ленинград, принял его в институт. До начала занятий оставалось время, приехал домой. Он увлекался машиной и вместе с отцом собирался получить права.

Пока он был в Ленинграде, я совсем собралась. Работа у меня была, я сразу же, как только мы переехали в Москву, пошла на фармацевтический завод. В Москве, в небольшой комнате, жила моя тетка. Мужа она потеряла во время войны, одна. Я договорилась временно пожить у нее.

Когда вернулся Олег, отца дома не было. Я про себя решила: «Настала пора, скажу сейчас, либо уж никогда не скажу». Пошла к нему в комнату.

— Олег,— говорю,— сыночек, выслушай меня. Ты уезжаешь от нас, встаешь на самостоятельный путь. Не забывай мать. Знай, что всегда, всеми мыслями с тобой. Дороже ребенка у матери никого нет, а у меня только ты один. Но с отцом жить больше не могу. Двадцать седьмой год мучаюсь. Ошиблась — пошла за него, польстилась на положение, мстила за обиду своему жениху. Всю жизнь за это расплачиваюсь. Только тобой дышала. Не суди меня строго, я сегодня ухожу. Жить буду у тети Антонины. Ты приходи завтра, я все тебе расскажу, а сейчас пора мне!

Он выслушал меня, потом схватил за руки, говорит: «Мама, как же ты! Папу подожди. Я тебя никуда не пущу!»

Высвободила я руки и со слезами из комнаты. Чемодан я в прихожей поставила. Схватила его и побежала. Будто чужое уносится... И что же? Олег ко мне не пришел. Уехал в Ленинград, не простившись. Обиделся за отца. И за себя. Я ему пишу — не отвечает. Пять лет в институте проблем и пять лет я ему писала, а он — ни строчки. Встречаться — встречались. Я в Ленинград все эти годы езжу, он и назначение там получил. Женился, внук у меня растет. Но я в его семье только что не чужая. Сюда, в Москву, к деду едут, а ко мне и не заглянут...

Только недавно, в марте это было, получила я от него письмо. Коротенькое, но все же написал. Спрашивает, как здоровье, не болею ли, просит больше отдыхать. Я, конечно, тут же ответила. Опустила двадцать седьмого марта. Сегодня одиннадцатое апреля, а ответа все нет... Жду, как не ждать!

Ну, заговорила я вас совсем... Всю жизнь коротко не расскажешь!

ГДЕ АВТОБУС?

ОТ АВТОРА. Нынче пошла мода на любовь к природе. Коллективы фабрик, заводов, учреждений в дни отдыха тянет к зелени трав, разноцветью ромашек, васильков и лотников, вековым соснам, дубам и лилям. Насыщенный озоном воздух влиается в грудь самодельных футболистов, волейболистов, бадминтонистов. Одним словом, отдых! Однако сопутствующие обстоятельства...

А это был не мой чемоданчик,
А это был чужой чемоданчик,
А это был не мой,
А это был чужой,
А это был не мой чемоданчик...

Озорно и весело поют в автобусе, везущем работников фабрики на воскресный отдых. Круто развернувшись, автобус въезжает на полянку.

— Выходите, товарищи! — кричит организатор поездки Рогов. — Все — на массовку! Все — на природу! На лужайку вываливаются оживленные любители природы. Пока они осваивают новую среду обитания, автобус уезжает...

— Рогов! А где автобус? — спохватывается бухгалтер Курицын.
— Уехал.
— Как уехал?
— Так уехал. Я его отпустил.
— Надолго?
— До вечера...

Все оживление с коллектива как рукой снимает. Тягостная пауза нависает над поляной.

— А что случилось? — недоуменно спрашивает Рогов.
— Там же выпивка осталась... — всхлипывает Курицын.

ОДИНОКИЙ БИЗОН

Кондрат Вавиличев садился в вагон поезда не в духе и сильно ворчал. Пересилив себя, плюхнулся рядом с женой Галкой, хотя на нее было особенно зол. Она же симпатично улыбнулась и уступила место у окна, сказав, что там ему удобнее разгадывать свои кроссворды.

Компания собралась большая и дружная — молодежь, местком в полном составе, сотрудники с женами: поездка предстояла для дел семейных. Ехали приводить в порядок пионерлагерь «Синеглазка», где летом набирались сил и здоровья дети пищевиков. Путники держались раскованно. Освободились от привычных дел по дому, оделись кто во что. Кто в джинсах с фирменной нашивкой на ягодице, кто в тренировочных хабэ, заправленных в резиновые сапоги: говорили, будто земля еще не просохла. Предстояло мести, скресть, мыть — короче, делать все, что скажет Лина, зампредмстком по детскому отдыху. Предвкушили «завтрак на траве»: столовая, естественно, пока не работала.

«Головотяпство чистых кровей», — кипятился про себя Вавиличев, уткнувшись в кроссворд, чтобы не приставали. — Воскресене! День футбола и — на тебе! Вкалывали в управлении, теперь едем вкалывать в лагерь. Почему, спрашивала я, не поехали в понедельник? Потому что в месткоме сидят головотяпы. Лина — головотяпка, теперь мне глазки строит. Сама поехала и нас потасила. А публика чему-то радуется. Пиджаков, без пяти минут заместителя начальника управления, выдает туристские песни. Голливуд, кандидат наук, книги пишет, а едет полы драить, притом хочет. Уж не дегенераты ли они?»

Вавиличев дико повел глазами, словно подсчитывая наличных дегенераторов. Он снова опустил глаза, не желая видеть этого коллективного восторга, и хотел отаться кроссворду уже на самом деле,

припоминая произведение известного новозеландского писателя из четырнадцати букв. Не получалось. Клетки не включались. Слишком сильно бушевал инстинкт раздражения. Игра эрудитов не снимала напряжения.

«Напишу в многотиражку», — решил Кондрат, отливая гнев в конструктивную идею. — Разнесут этих весельчаков! Воображаю их триумф: лагерь сдали вовремя, детишек встретили-приветили и тому подобное, но благодаря кому?!

Баб тоже не понимаю, — гневливо думал он о супруге, привалившейся к нему в безмятежном неведении. — Устроила мне бенз из-за несчастной проводки, а сегодня как ни в чем ни бывало. Ну обяснились, но помирисились, так держись достойно, не льни. Мягкотелость какая-то беспросветная!*

А скандал вышел опять-таки из-за принципиальности Кондрата. В подъезде не горел свет: либо патрон дурил, либо обрыв проводки получился. Работы на несколько минут, но Вавилычев делать ее не стал, а позвонил диспетчеру. Электрика не прислали, он пошел к мастеру. Тот рвал из себе волосы по поводу нехватки кадров, но меры пообещал принять. Возвращаясь на другой день с вечернего променада, Вавилычев встретил у подъезда Никифоровну, знаменитую в доме рекордным 102-летним возрастом. Долгожительница начала делать Кондрату комплименты, мол, Вавилычев — умелец на все руки, что было сущей правдой, и подбивала на немедленное устранение неисправности освещения. Кондрат отказался наотрез, призываая бабусю к принципиальности.

— Не повредил бы кто ноги, — озабоченно откликнулась она. — Я лично ступеньки по счету забываю. Не то их пять, не то шесть.

— Шесть их, — услужливо подсказал Кондрат и отправился вовсю.

Дома он под копирку написал три заявления: вправление кооператива, в райисполком и в газету «Вечерние новости». И пока писал, ему все время мешала Галка, укоряя Никифоровной с ее возрастом, как будто он, Вавилычев, виноват, что та дожила до 102 лет и сбивается в счете. Старушечки, по сути, призывала к самодейственности, к поощрению безответственности.

Галка назвала мужа занудой: припомнила многие из его заявлений, в том числе и насчет штакетника, который сломал неизвестно кто, а починил сосед, пока Кондрат опять-таки строчил письма.

«Зануду» он ей простить не мог. Возникла перепалка, которую пришлось прекратить по слезной просьбе дочери Веры.

— В добрые старые времена, — озлился Вавилычев, — десятилетние дети не вмешивались в отношения родителей...

Когда в управлении бросили клич насчет поездки в лагерь и начали записывать желающих, он, конечно, не подумал поставить свою

фамилию, а сделала это опять она, Галка. Да, не сахар под одной крышей с женой работать.

Поезд прибыл на станцию, от которой до «Синеглазки» прошли километра полтора пешком. Лина быстро распределила всех по рабочим местам. Вавилычев и несколько других добрых молодцев разбрели нагромождения мебели и выносили для сушки матрацы.

Прибежала Лина с блестящей идеей.

— Послушайте, мужики, — сказала она, — матрацы кончаются. Пока мы драим окна и полы, шли бы вы на спортивплощадку. Там работы невпроворот. Сможете поставить футбольные ворота?

— А плавательный бассейн вырыть не требуется? Я бы вырыл, — съязвил Вавилычев.

— Зачем бассейн?! — подняла на него смеющиеся глаза Лина. — У нас озеро.

— А у нас воскресенье! — взорвался Вавилычев, кидая матрац куда попало. Сел на него и гаркнул: — Встаю на принцип! Столбы ставить, извините, не подряжался!

— Ты не на принцип встал, а сел на сырой матрац, что вредно, — заметил кто-то из коллег.

— И пачкаешь матрац: земля-то не просохла. Встань, пожалуйста, — забеспокоилась Лина.

Но Вавилычев не поднялся, а демонстративно разжег сигарету и обратился к присутствующим с речью. Сказал все — про головотяпство и так далее. Ученый Гоплитов начал его разумлять, развивал идеи общественной инициативы и добровольного труда, напомнил о демографических волнах, несущих на своих горbachах нехватку рабочей силы, толковал насчет полезности физических занятий, ссылаясь на графа Льва Толстого и академика Ивана Павлова.

Пиджаков лапидарно посоветовал:

— Не валяться дурака, Вавилычев!

Но Вавилычев поднялся, прислонил матрац к беседке с полинялой дверечкой «Тихие игры» и объявил, что уезжает, прочим же советует хорошенько подумать, а также передать горячий привет жене Галке.

Дома стояла тишина: дочь по воскресеньям ходила на репетиции школьного хора. Вавилычев сел к столу писать статью в многотиражку. Сочинял ее не спеша, с охотой и не без сарказма.

«Исполнин перва», — удовлетворенно обозначил он сам себя, поставив последнюю точку. Потом переоделся и поехал на футбол. Игра прошла интересно, но без нервных затрат: выступала не его команда. Потолкавшись в клубе болельщиков под стенами стадиона и заглянув в пивбар, Кондрат с чувством недурно проведенного вечера отправился домой.

В квартире по-прежнему было тихо и, главное, темно. Несколько изумленный Вавилычев включил свет в прихожей и на кухне. На кухонном столе лежал лист бумаги. Вавилычев стал читать:

«Кондратий! — писала его жена Галка.— Мне за тебя стыдно! Все остались, а ты уехал. Просто не знаю, как им в глаза смотреть.

Я у сестры, и мы с Верой будем там, пока ты не переменишь свой ужасный характер и принципы. Если ты что-нибудь написал, порви немедленно!

Прощай! Галина».

Вавилычев сел на табурет. Этого он не ожидал. Это, полагал он, с ее стороны беспричинно. Озладив собой, Кондрат начал искать ужин, но на плите и в холодильнике не обнаружил ничего, что говорило бы о желании жены приготовить ему, прежде чем бежать из семьи, приличную еду с гарниром.

— Одинокий бизон! — прошептал Вавилычев и стал вспоминать, как жарят яичницу.

УРОК

Днем Анна Павловна спешит в булочную, покупает вкусные вещи к чаю и готовится к встрече с учениками. На столе лежит словарь иностранных слов, открытый на букве «а». Подчеркнуто слово «акселерация» — ускорение роста, развития.

Анна Павловна — переводчица, знает двенадцать языков. Но, выйдя на пенсию, работу на дом брать не может: болят глаза, даже в очках читать трудно. Когда приятельница советует ей готовить... абитуриентов для института, она соглашается с удовольствием. Мало того, что занятия позволяют не бросать любимого дела, она будет постоянно общаться с молодежью, которой, увы, совсем не знает.

Ученики, рослые девочка и мальчик, приходят одновременно, оба в джинсах и белых куртках. «Акселераты», — пугается переводчица. Здороваются, знакомятся.

— Разведайтесь, ребята. На улице дождь, выпьем чаю, а потом приступим к занятиям, — предлагает хозяйка.

Разлив душистый чай, она устраивается поудобнее и только хочет спросить, сразу ли они нашли ее дом, как мальчик удовлетворенно изрекает:

Кайф!

Девочка кивает.

— Это вы о чай? — спрашивает догадливая хозяйка. — Нравится?

— Отпадный чаек, — подтверждает мальчик.

Девочка кивает.

Анна Павловна, хоть и считает, что «отпадный» — это довольно-таки сомнительный комплимент чаю, решает не придираться к детям.

— Пейте на здоровье, — любезно потчует она.

Ребята с удовольствием пьют чай, рассматривая кухню и друг друга.

— Значит, вы намерены поступить в институт? А как у вас английским в школе? — интересуется переводчица.

— Без оперения, как череп марабу. — смущается мальчик.
Девочка кивает.

Воспользовавшись паузой, Анна Павловна собирается задать несколько вопросов относительно их интересов и увлечений, но мальчик опережает ее.

— Бундесовая? — спрашивает он, потщупав рукав кофточки своей соседки.

Девочка кивает.

— Прикольная кофтенка, — уважительно говорит паренек.

— Ждала эту кофтенку до упора, — рассказывает девочка. — Толкнул мне ее один хипповатый биржевик.

— А я на ряках колотнул маг. Врубаешь диско — отпад! — сообщает мальчик.

— Диско — прикольная музыка, — поддерживает девочка.

Анна Павловна встает из-за стола.

— Я вас на минуту оставлю, — извиняется она и выходит из кухни, где не затихает разговор, непонятный переводчице с двенадцати языков. Возвращается Анна Павловна с буквarem.

— Начнем первый урок, молодые люди. Однако займемся не английским, а вспомним азы русского. Откройте, пожалуйста, тетради. Пишите: «Мама мыла раму...»

Мальчик мрачно:

— Обвал!

Девочка кивает.

ОТ АВТОРА. Перевести беседу подобных акселераторов на человеческий язык по техническим причинам невозможно. Исследованиями издерек акселерации занимаются педагоги, социологи, психологи, филологи и т. д. Именно они, я думаю, при желании осилият эти обноски жаргона.

СУМАТОШНЫЙ РОДСТВЕННИК

Меня навестил дальний родственник Ивин. Сидим, беседуем о чемпионате мира по футболу. И, пожалуйста, неприятность: в квартире свет погас. Достал и зажег свечку. Была она довольно изящной — эдакая маленькая пирамидка. Ивин, человек увлекающийся и любознательный, взял ее, внимательно осмотрел и задумчиво произнес:

— Пирамидальная, ну прямо кипарис. Жаль палить такую редкость. Тем более коллекционировать свечи сейчас — хобби интеллектуалов.

Он загасил свечу, бережно завернул в газету и унес, оставил меня в темноте.

Через месяц он позвонил по телефону, спросил с надеждой:
— Слушай, прошлый раз в твоем кухонном шкафу стояла бутылка из-под шотландского виски, верно?

— Верно. Супруга приспособила ее для подсолнечного масла.
— Вы с ума сошли!

Ивин примчался на такси и забрал бутылку, приговаривая:
— Ценный экземпляр, придется отмывать, однако, потрудитьсястоит: коллекция бутылок сейчас — хобби интеллектуалов.

Говорят, сейчас хобби интеллектуалов — коллекционировать дачные раскладушки. У меня она есть. Не дожидаюсь визита Ивина, отвез к нему домой. Он бурно выразил радость, а потом загрустил:

— На днях узнал от одного осведомленного интеллектуала, что скоро войдет моду коллекционирование птичьих яиц. Живу мечтой: первым в городе купить яйцо страуса. У тебя нет знакомых работников зоопарка?

АРТЕМИДА В ЭКСПЕДИИ

(И еще раз про любовь)

Пролог. Лирический

Виталий Рябушкин страдал от любви так сильно, как никто никогда не страдал. Скажи ему лучший друг, что это — преувеличение, он, матренированный самбист, штангист и бадминтонист, отступал бы обидчица. Аньют... Ее черные глаза превращали его в макиши. Когда она пошла танцевать с Анатолием (первый красавец четвертого курса), Виталий чуть не задохнулся от ревности. Он сбежал вниз, на улицу и там страдал без пальто на весеннем промозглом ветру. В окне дискотеки метались огни и силуэты, и она была там. Отчаянию Виталия не намечалось конца. Он бросился в кафе, выпил стакан сока типа портвейн и почувствовал себя умным, дерзким, неординарным.

В дискотеке он небрежно ввинтился в массу танцующих, элегантно оттеснил Анатолия и всецело завладел вниманием Аньют...

Глава первая. Клятва Рябушкина

Аньют пригласила Рябушкина на праздничный пирог. Пирог был не хуже горячих уличных пончиков. Начинка из мяса и слоеная корочка таяли во рту. Если бы хозяева неосмотрительно оставили студента Рябушкина наедине с этим чудом домашней выпечки, он съел бы его до последней крошки. Но такого счастья не привалило, да Виталий и не мечтал о нем. Он вполне довольствовался тем, что слева сидела Аньют, прямо перед ним — ее мама Маргарита Савельевна. Мужчины в доме не

оказалось, а почему — Виталий уже знал: отца Аньют изгнали за амурные похождения.

Виталий очень смущался за столом, направляя все внимание на нож с вилкой, которые грозились ускользнуть. Все же он успел заметить, как похожи женщины: черноглазы, упитанны, с яркими длинными ногтями.

«Сначала она будет, как мама, а потом, как тетя,— подумал он.— В любом возрасте она останется неординарной».

Рябушкин боялся также попасть впросак в смысле беседы. Как ботаник, он плохо разбирался в искусствах и литературе. Но беспокоился он напрасно. Разговором владели сестры. Они, время от времени деликатно уступая трибуну друг другу, рассказали Виталию все о своей квартире: как была получена, перестроена, отделана, снабжена современной сантехникой. Влюбленный Рябушкин узнал также историю приобретения гарнитура в стиле Людовика XIV. Он был приобщен к тайнам дизайна и сверхзадаче, которую предстояло решить трем бедным, без мужской поддержки и силы, женщинам. Им хотелось решительно все сделать под старину: люстры, зеркала и прочее. Маргарита и Капитолина Савельевны пришли в восторг по поводу ботанической экспедиции, в которую собирался Виталий. По их мнению, в отдаленных местах России должны были водиться предметы совершенно роскошного антиквариата, изумительно дешевые и никому не нужные, они прелестно смотрелись бы в их квартире. Рябушкин клятвенно обещал привезти желаемый антиквариат.

Глава вторая. В кладовке Фролыча

Экспедиция в замешательстве остановилась между пивным баром «Импульс» и городским колхозным рынком. Натуралистов было четверо: студенты-практиканты Виталий, Дюк (от фамилии Дюкин), Афанасий и Михаил Гаврилович, руководитель группы из аспирантов, в просторечии Гаврилыч.

Дюк, Афанасий и Гаврилыч предлагали начать с «Импульса», Виталий, памятую наказ, полученный в доме любимой, спешил на рынок, где по сведениям, полученным в гостинице, имелась толкучка.

Экспедиция разделилась на две неравные части. Рябушкин окунулся в базарную толпу и был поражен масштабами торжища. Купить можно было все — примусные иголки (Виталий увидел их впервые в жизни, ибо эпоха научно-технической революции об их существовании даже не подозревала, а Рябушкин был сыном своей эпохи), японскую записывающую технику, детские пинетки, бампер автомобиля «Мерседес-бенц» выпуска 1938 года, бразильскую карнавальную маску, новые американские джинсы и столик, инкрустированный мастерами Востока. Вещи теснили Виталия со всех сторон, но он горделиво шел мимо, пока не наклонился взглядом на



старичка при галстуке и в предохранительной каске строителя. Старичок продавал медные дверные ручки с головой льва, они наводили на мысль о том, что хозяин их — любитель старины. Интуиция не обманула влюбленного. Не слишком речистый продавец дверных ручек в конце концов раскололся и пригласил молодого человека к себе домой в шесть вечера, на улицу Красная, дом 5.

— Лежит у меня в кладовке зеркало венецианского стекла в резной раме с прекрасной фигурой русалки, — сказал дед. — Богатая вещь. Условия такое: кладовку разбирай сам, у меня цифры давления высокие...

За русалкой отправились все члены экспедиции. Зеркало извлекли из пыли веков после немалых трудов. Ботаники замерли перед ним в немом удивлении. Поражали пышность резьбы и почти полное отсутствие изображения в помутневшем стекле. Раму действительно венчала небольшая женская фигурка. По мнению эрудированного Афанасия, она была не русалкой, а богиней охоты, у греков Артемидой, у римлян Дианой. Афанасий убедительно доказывал свою версию, ссылаясь на подобие колчана за спиной Артемиды и на тунику, прикрывающую тело. Иван Фролыч — так звали владельца зеркала — наставлял на русалке.

Для упаковки зеркала Иван Фролыч предложил кованый сундучок. Тара была хороша тем, что имела три ручки: две по бокам и одну сверху. За все про все дед взял шестнадцать рублей двадцать копеек.

— Что не круглую сумму просишь? — спросил любознательный Дюк.

— Так ведь зачем? — откликнулся Иван Фролыч. — Десять на сберкнижку, а шесть двадцать к субботе. Я «Пшеничную» беру.

Рябушкин расплатился.

Глава третья. Артемида в сундуке

Сундучок с Артемидой внес разнообразие в программу экспедиции. По прикидке Гаврилыча поклажа, для надежности обвязанная белевой веревкой, весила не менее 24 кг. Гаврилыч распорядился было отправить ее малой скоростью в товарном вагоне по адресу Аютиной мамы, но Виталий никак не соглашался: боялся за сохранность зеркала, хотя глядеться в него уже не имело смысла, и жаждал вручить антиквариат самолично. Друзья пошли навстречу. На сундук налепили листы бумаги со словом «стекло» на русском и иностранных языках.

Несли сундук по двое, за боковые ручки, согласно графику. Рейд до города Нижнего Реченска на пароходе прошел благополучно. В райисполкоме Гаврилыч получил под экспедицию «газик», который должен был доставить всех на первую стоянку. К ботаникам вообще

отнеслись сочувственно и предложили оставить поклажу до возвращения из лесов и полей в райисполкоме. Но не сберегли. Уборщица тетя Вера, решив, что сундучок забыли только что отъехавшие колхозники «Красного луча», по живости натуры отправила Артемиду на попутке в забывчивое хозяйство. Там, немало подивясь, отослали ее назад в Нижний Реченск, где уже поднялось волнение из-за отсутствия сундука и по звонку из лесничества. Словно чувствуя недобroе, тревожился сам хозяин... Вскоре он примчался на перекладных, чтобы убедиться в сохранности зеркала. Заинтересованный столъ пылкой привязанностью к обитому железом ящику, молодой сотрудник райисполкома спросил:

- Слушай, Виталий, что у тебя там: корень жизни или как?
- Любовь! — признался Виталий. — Любовь Анюты. Они с мамой такие вещи исключительно любят и собирают.
- Взаимности добиваешься? — уточнил собеседник.
- Взаимности! — вздохнул Рябушкин.
- Тогда поможем. Полетишь на базу пожарным вертолетом. Вертолетчики — парни точные, спустят тебя вместе с сундучком в самый пятак.

Так зеркало с Артемидой взвилось под облака, а потом на хорошем канате благополучно вернулось на землю. Хуже получилось с Виталием. Высота оказалась не его сферой. С нескрываемой боязнью спускался он по отвратительной, с его точки зрения, лестнице на поляну, где непонятно чему родовались ботаники. Приземлился тем не менее в полном здравии, не считая вывиха руки и нескольких синяков.

Был еще один небольшой, но достойный упоминания эпизод на воде. Через две недели Гаврилыч снял лагерь и на двух членах двинул группу вверх по течению. Лодка с дорогим грузом натолкнулась на затонувшее дерево и перевернулась. Река оказалась мелководной, и вытащили всех — Артемиду, Виталия и Дюка. Часть собранных трав для науки была потеряна, но зеркало, рама и сама Артемида прищательном досмотре оказались невредимыми. Надежность старых мастеров еще раз дала о себе знать...

Несли сундучок по чащобным тропам, через болота и забытыми просеками, пересчитывая могучие пни. Держали на руках, выбираясь из лесов на телеге и разбитой машине. Когда поезд доставил экспедицию к московскому перрону, Гаврилыч немедленно отправил сундук в сопровождении хозяина и Дюка домой, к Анюте. Напрасно Виталий отбивался, желая помыться, побриться и выбрать подходящий галстук.

— Гуляй так! — решительно сказал Гаврилыч, выдержка которого подошла к вполне логичному концу. — Придешь с дороги пыльный, бородатый — больше ценить будут.

Эпилог. Элегический

Аспирант Гаврилыч оказался знатоком женской души. Виталий и Дюк в штурмовках и щетине действительно произвели потрясающее впечатление на трех женщин. И сундучок тоже. И зеркало с Артемидой, она же Диана и русалка. Через год Дюк, элегантно отвесив однокашнику, женился на Анюте... В свободное, а также в рабочее время он занимается поисками старинных предметов для интерьера своего дома, понимая, что незачем откладывать это до экспедиции в отдаленные, мало посещаемые места.

Да, не забыть бы: Виталий Рябушкин не отлучался от обидчика.



СОДЕРЖАНИЕ

Теплые рукавицы	2
Совещательный голос	7
Чудак на улице	10
По самые маковки	12
Компромисс	12
Реформаторы	18
Хроника благородных деяний	22
Ученые — свет	28
Поучительный монолог	29
Где автобус?	36
Одинокий бизон	37
Урок	40
Суматошный родственник	41
Артемида в экспедиции	42

Юрий Семенович Мартынов

ТЕПЛЫЕ РУКАВИЦЫ

Редактор С. С. Спасский

Техн. редактор С. М. Вайборд.

Сдано в набор 08.02.83 г. Подписано к печати 13.04.83 г.
А 02675. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага типографи-
ская № 2. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,01. Тираж 75 000.
Изд. № 1068. Заказ № 217. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
тиография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.